

Борис Фрадкин



**НАСТОЙКА
ИЗ ТУНДРОВОЙ
СЕРЕБРЯНКИ**



БОРИС ФРАДКИН

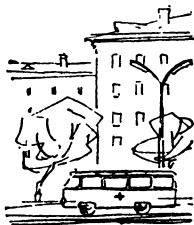
**НАСТОЙКА
ИЗ ТУНДРОВОЙ
СЕРЕБРЯНКИ**

**НАУЧНО-ФАНАТАСТИЧЕСКИЕ
РАССКАЗЫ**

Пермское
книжное
издательство
1967

Вывоз поступил в третьем часу ночи. Я растормошил дремавшую у стола медсестру, подхватил сумку и выбежал к машине. — Тот самый Голубаев? — спросила Ксения Андреевна, когда мы уже мчались на «скорой» по безлюдным улицам спящего города.

Я безмолвно ахнул: ведь действительно мы едем не к какому-нибудь Голубаеву, а к Павлу Родионовичу Голубаеву! Еще раз взглянул на адрес — так и есть, улица Славянова, дом сорок один, квартира шесть. И уж совсем неожиданно вспомнилось: дверь квартиры обита слоем войлока под синим дермантином, и гвозди с широкими блестящими шляпками глубоко утопают в обшивке, образуя косые клетки; и звонок не электрический, а про-



ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ

стенный, ручной. Ручку повернешь — и в передней словно кто-то осторожно встряхивает серебряными колокольцами...

Пока «скорая» ныряла из улицы в улицу, я вспоминал недалекое прошлое, когда я, студент, только осваивал азы медицины.

Лекции по нейрохирургии... На кафедру поднимается Голубаев — высокий, плечистый, в неизменном черном костюме. Одна рука его скользит вдоль стены, другою он ищет стол. Старается делать это незаметно, но нам с высоты убегающих вверх рядов отлично видно каждое его движение.

Дойдя до середины стола, Павел Родионович привычно поворачивается к аудитории. Мы знаем: глаза его нас не видят, но каждый раз, обманываясь, ловим их взгляд.

Свою лекцию Голубаев начинает неторопливо, негромко. Он опирается на стол широко расставленными руками, словно раздумывая, собираясь с мыслями.

Потом выпрямляется, вскидывает голову, и его прямые черные волосы приподнимаются двумя крылами. Руки уже не знают покоя, они делают удивительно зримым все, о чем говорит Голубаев. В голосе его — волнение.

Теперь Павел Родионович весь устремляется к нам, будто речь идет не о том, что уже известно науке, а о явлениях, которые внезапно

предстали перед ним, и он торопится донести их до нас, пока они не исчезли.

В аудитории мертвая тишина. Сто сорок человек, а кажется — ни души. Тишина необычная, наэлектризованная. Мы забываем конспектировать, мы только слушаем. Даже самая непоседливая на курсе Ларка Дудырева застывает изваянием, широко раскрыв круглые глаза с угольно покрашенными ресницами.

Голубаев рассказывает о сложнейших взаимодействиях нервных волокон, о механизме распространения нервных импульсов, о работе центров головного мозга. Он густо пересыпает свою речь латинскими терминами. В других устах те же фразы звучали бы сухо и неинтересно. А тут...

Поступая в медицинский институт, я застал Голубаева уже вот таким, почти ослепшим. Приехал я издалека и прошлое Павла Родионовича узнал уже стороной, понаслышке.

Он окончил когда-то наш институт и специализировался как нейрохирург. Очень скоро его смелые, удачные операции стали известны далеко за пределами области. Голубаев защитил диссертацию, получил звание кандидата медицинских наук. И быть бы ему доктором, крупным ученым, но свалилось на него несчастье — глаукома. Болезнь в нашем понятии чепуховая, люди с ней живут до глубокой старости, не те-

ря зрения полностью. А у Павла Родионовича слепота прогрессировала катастрофически — случай, из ряда вон выходящий. Природа словно издевалась над нейрохирургом: других исцеляешь — попробуй исцели себя. Он бросил ей вызов — прибег к хирургическому вмешательству. Операция оказалась неудачной, и зрение резко ухудшилось. Слепнувший хирург — что может быть трагичнее?

Круг его деятельности неумолимо сужался. Прежде всего пришлось отказаться от операций и довольствоваться консультациями. Рассказывали, что он мог часами просиживать в операционной, чутко прислушиваясь к звуку брошенного в таз инструмента, к скупым фразам, которыми обменивались хирурги и сестры.

И еще — лекции, которые запомнились нам на всю жизнь...

При мне Голубаева уже приводили за руку — дочь, студентка нашего института, или жена, очень добрая приветливая женщина с большими, ясными, какими-то наивными глазами. В институте поговаривали, что жена под диктовку Павла Родионовича пишет конспекты лекций и методические указания, читает ему статьи из научных журналов, ни слова не понимая из того, что пишет и что читает Наши

девчонки только вздыхали, наблюдая, как влюбленно Голубаев прижимает к себе руку жены и как заботливо поправляет она на нем галстук, прежде чем позволить ему войти в аудиторию.

Но и лекции чертовски трудно давались Голубаеву. Разыскивая нужный плакат, он приближал лицо к самой стене, а макеты, разложенные на кафедре, подолгу ощупывал руками.

Голубаев был не как все — мы это сразу поняли. Но что делало его необычным? Трагедия? Я пробовал поставить себя на его место и приходил к неутешительному выводу: я бы, наверное, сразу скис, потерял всякий интерес к окружающему, махнул бы на все рукой, и на медицину в том числе.

А он продолжал читать лекции. Видно, они оставались для Павла Родионовича единственной ниточкой, которая связывала его с любимым делом.

Но ведь и она, эта ниточка, вот-вот должна порваться. Я с замиранием и тревогой вслушивался в голос Голубаева, искал в нем нотки страха. Несколько раз вместе с Надей, дочерью нейрохирурга, я провожал его домой, заходил к ним. И убеждался: страха нет, отчаяния нет. Я пытался представить душевное состояние Голубаева и только еще больше им восхищался, не умея понять, откуда он черпа-

ет силы, чего стоят нашему необыкновенному преподавателю его уверенность и спокойствие.

Вскоре Павел Родионович окончательно ослеп, и было ему тогда тридцать девять лет — самый возраст для талантливому хирурга.

К нашему огорчению, он отказался от лекций, перестал появляться в институте. Стороной до нас доходили слухи: Голубаев принимал участие во Всесоюзном совещании нейрохирургов (должно быть, в качестве почетного гостя)... Вместе с женой отправился в Румынию (зачем?), приглашен в Китай к специалистам по иглотерапии (не собирается ли испытать на себе новый метод лечения?)...

Потом я кончил институт и почти не вспоминал о Голубаеве. И вот — этот вызов.

Квартиру нам открыла перепуганная женщина, соседка Голубаева.

— Мария Федоровна улетела в Ижевск к дочери, — торопливо объяснила она, — оставила мне ключ, попросила присматривать за Павлом Родионовичем, готовить ему. Остальное ведь он все сам. Целые дни возится со своими аппаратами. Вечером зашла собрать ему поужинать, а он закрылся в своей комнате. Не отзывается и не выходит. Ужин так и остыл... Ночью проснулась: сердце не на месте. Снова зашла — слышу стон... Сразу к телефону...

Я приложил ухо к двери и услышал приглушенное гудение. Так обычно шумит трансформатор. Затем мне почудилось, будто в комнате кто-то дышит, часто, с надсадой.

— Павел Родионович! — позвал я. — Павел Родионович!

— Да что же с ним такое? — снова запричитала соседка Голубаева. — Утром он проводил Марию Федоровну на самолет, возвратился такой веселый! Все напевал, все шутил... И ведь вовсе ни на что не жаловался!

Я снова приложил ухо к двери и теперь отчетливо услышал стон. Тогда я передал сумку Ксении Андреевне, попросил женщин отодвинуться и налег на дверь. Замок с кусками дерева вылетел из гнезда.

В комнате темно. Голубаеву, если он даже чем-то и занимался, свет не требовался. Я долго шарил по стене, прежде чем рука наткнулась на выключатель.

Четыре года я работаю на «скорой». Не то чтобы сердце мое очерствело, привыкло к людским страданиям, но я научился держать себя в руках при любых обстоятельствах и прежде всего оставаться врачом.

А тут растерялся...

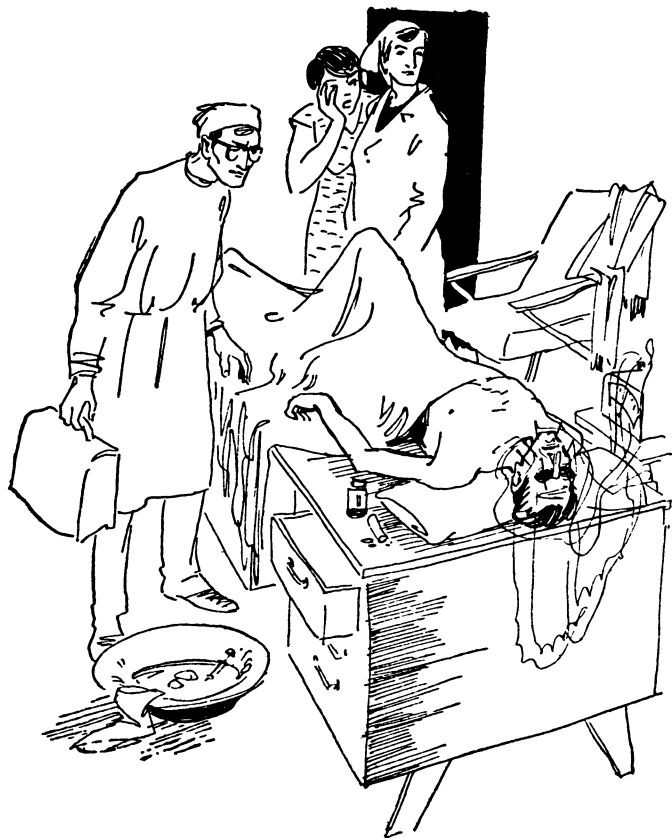
На большом письменном столе, выдвинутом на середину комнаты, до пояса прикрытый простыней, лежал Павел Родионович. Голова его 9

была запрокинута, одна рука вытянута вдоль тела, другая свесилась со стола.

В первую очередь меня поразило его лицо: оно было синюшного цвета, как при кислородном голодании, но только значительно темнее. И синюшность кончалась четкой границей на шее, немного ниже подбородка. На лбу и на висках вздулись вены, выступая почти черными шнурами. В щеки, в подбородок воткнуты иглы, много игл, наверное, не меньше двенадцати-пятнадцати, и от каждой тоненький провод тянется к большому прямоугольному ящичку. Из-под сомкнутых век стекает сукровица, и тоже торчат иглы, но длинные и толще.

В изголовье я увидел тумбочку с разложенными на ней хирургическими инструментами и только теперь обратил внимание на то, что в правой руке Голубаева, упавшей со стола, зажат скальпель. А когда мой взгляд скользнул еще ниже, стало совсем не по себе: в небольшом алюминиевом тазике на полу валялся шприц с разбитым цилиндром, окровавленные ватные тампоны и... два глазных яблока. Я узнал их — мутные, словно забрызганные разбавленным молоком! — и содрогнулся, когда сообразил, что Голубаев удалил себе оба глаза, вгонял иглы в лицо и вообще проделывал над собой что-то дикое и непостижимое.

10 пока не потерял сознание от боли.



Истерический крик соседки Голубаевых отрезвил меня. Я быстро выдернул из розетки штепсельную вилку аппарата — и гудение прекратилось. С помощью ничему не удивляющейся Ксении Андреевны я осторожно удалил иглы, торчавшие на щеках, на подбородке, из-под век. Мы завернули Павла Родионовича в простыню и отнесли в машину.

Через несколько минут он был доставлен в хирургическое отделение городской больницы. В предварительном диагнозе я записал сильнейшее нервное расстройство. А что еще могло тогда прийти мне в голову?

С великим трудом дотянул я до конца дежурства. Перед моими глазами все стояло синюшное лицо Голубаева, утыканное иглами. Нет, то, что сделал с собой Павел Родионович, не могло быть результатом нервного потрясения. Ставя предварительный диагноз, я просто не имел времени для раздумья, иначе не написал бы такого. Только теперь меня осенило: не слабость, а большое сильное чувство руководило нейрохирургом, он шел к какой-то цели, и даже слепота не смогла остановить его. Это чувство прорывалось в его лекциях, а я, наивный чудака, думал тогда о ниточке, связывающей Голубаева с жизнью. Какая там, к дьяволу, ниточка! Тысячи стальных тросов и те бу-

Едва сдав дежурство, я сел в трамвай и через четверть часа уже входил в клинику. Там я разыскал Костю Чашухина, своего однокурсника и старого друга. Костя работал хирургом, успехи его были не в пример моим, о нем уже поговаривали в городе, даже писали в областной газете.

Костя провел меня к себе в кабинет, попросил сестру принести для меня халат.

— Без сознания, — сказал Костя, — но жизнь вне опасности. Шок. И большая потеря крови.

— Но в чем дело, как ты думаешь?

Костя подергал рыжие баки, которые делали его похожим на Пушкина.

— Мы вызвали жену. Думаю, она нам все объяснит. Или он сам, когда придет в себя. Но твой диагноз...

Я замахал на Костю руками.

— Не то, конечно, не то! Но ничего другого я придумать не смог. А времени в моем распоряжении, сам знаешь, сколько бывает.

— Знаю, как же...

— Лицо у него все еще синюшное?

— Да. И мне кажется, дело тут не в кислородном голодании. Просто кожа обработана каким-то раствором. Пройдем в палату?

Павел Родионович лежал на спине, дышал чуть заметно. Около постели сидела дежурная сестра. Она шепнула:

— Наполнение стало почти нормальное. Мы долго молча смотрели на лицо Голубаева с серовато-лиловой кожей.

Днем я отсыпался после дежурства. А под вечер снова отправился в клинику. Но Кости не было, а без него пройти к Павлу Родионовичу я посчитал неудобным. Мне сказали, что он пришел в себя, однако очень слаб.

Не знаю, почему, но я почувствовал несказанное облегчение.

На следующее утро, когда Костя встретил меня, было у него какое-то странное, взволнованное лицо. И пока я надевал халат, он топтался около меня, дергал себя за баки.

— Прилетела Мария Федоровна, — сказал он. — У него в палате.

— Ты говорил с ней?

— Нет, еще не успел. Но тут и без того уже такое происходит...

Костя уставился на меня, словно это со мною произошло что-то невероятное.

— Ну? — Я справился с халатом и вопросительно посмотрел на своего товарища.

— Понимаешь, он видит.

— Кто видит? — не понял я.

— Павел Родионович, кто же еще?

Я посчитал его слова за шутку, едва не рассмеялся, но Костя продолжал смотреть на меня

14 таким напряженным взглядом, что я осекся.

— Послушайте, товарищ хирург,— сказал я,— ведь Голубаев удалил себе даже то, что еще могло называться глазами.

— Вот именно,— в голосе Кости была растерянность. — Вопреки всему. И я бы никогда не поверил, если бы сам в этом не убедился.

— Но как же так? — пробормотал я.

Он развел руками.

И вот мы входим в палату. Около постели Голубаева сидит жена. Приветливая Мария Федоровна очень мало изменилась за эти годы, а в белом халате вообще кажется воплощением доброты.

Павел Родионович лежит на спине, и я вижу его четко очерченный профиль с запавшими на пустых глазницах веками.

Костя приблизился к постели, спросил:

— Как вы себя чувствуете, Павел Родионович?

— Ничего, коллега, сносно. А это кто с вами? Я стоял несколько сбоку, да еще позади Кости, и не произнес ни звука, так что угадать мое присутствие Голубаев не мог. Он должен был только увидеть меня!

Мы с Костей переглянулись.

— А, вспоминаю, вспоминаю,— сказал Голубаев,— тот самый молодой человек, который любил задавать мне вопросы, да все этикие, с подкавыкой. Если не ошибаюсь, мы тезки.

- Как вы могли узнать меня? — изумился я.
- Зрительная память, коллега.
- Вы... вы видите?
- Разумеется.

Тонкие губы Павла Родионовича дрогнули в торжествующей улыбке. Он шевельнулся, Мария Федоровна поправила на нем одеяло.

- Но чем?!
- Лицом. Точнее, кожей лица.
- Кожей? — Я подошел ближе, всматриваясь в серо-лиловое лицо Павла Родионовича. Неподвижность его оказалась обманчивой. Я заметил, что кожа лица Голубаева находится в непрерывном едва заметном движении.
- Вы хотите сказать, что использовали эффект Розы Кулешовой?
- Вы угадали, любитель каверзных вопросов.

— Позвольте, — запротестовал я, — но «видеть» кожей можно только при непосредственном контакте с объектом. А вы...

Голубаев нетерпеливо перебил меня:

- А я чуточку ученый.
- Ты невозможный человек, — вмешалась в разговор Мария Федоровна. — Ты нарочно спровадил меня к Наденьке, знал, что я бы никогда не допустила такого безумства. Представьте себе, — она повернулась ко мне, — никто ни в Москве, ни в Бухаресте, ни в Пекине

не решился проверить на человеке идеи Павла. У профессора Литвиненко гибли все подопытные животные, на которых он испытывал совместное воздействие легкой воды и высокочастотных ударов на нервные сплетения. И обезьянки, и морские свинки, и кролики...

— Эка, нашла с кем меня сравнивать, — обиделся Павел Родионович. — Я-то существо немного более совершенное.

— Ты не подумал обо мне, — с грустью упрекнула мужа Мария Федоровна.

Голубаев еще слабый, плохо слушающейся рукой разыскал пальцы жены. Она ласково приняла ее, подняла, прижала к своей щеке.

— У меня очень страшное лицо? — спросил Павел Родионович. И, так как мы все трое медлили с ответом, он сказал: — Это должно пройти, нечто похожее на слабый ожог. Помнишь, Машенька, как боялся Гринчас за свою легкую воду? Будто вручал мне атомную бомбу. Раствор, которым я обработал кожу, — пояснил Голубаев мне и Косте, — компонент обыкновенной воды. В молекулу ее входит атом кислорода с атомным весом пятнадцать. — Да разве есть такой? — удивился я.

— Отыскался. В воде еще многое отыщется. Да вы что, молодые люди, стоите? Присаживайтесь.

Я буквально плюхнулся на стул. Все происхо- 17

дящее казалось мне ненастоящим. Но не верить было невозможно. Голубаев не мог бы так разговаривать со мной, если бы не видел меня. Он безусловно видел!

Костя остался стоять. Он всеми силами старался держать себя как врач, столкнувшийся с новым видом заболевания, симптомы которого не укладываются ни в какие известные ему нормы. Что бы там ни было, а перед ним прежде всего пациент, больной человек. Увы, голос Кости явно фальшивил.

— Итак, вы видите, — констатировал Костя. — А как это сказывается на вашем общем состоянии?

— Да что там состояние, — усмехнулся Павел Родионович. — Если бы силы не изменили мне, я бы сделал видящей всю кожу своего тела. Слышите, коллеги? Всю кожу. Я бы смог видеть вокруг себя абсолютно все, видеть то, что за моей спиной, над головой, у меня под ногами.

В палату вошла сестра с лекарствами. Костя яростно замахал на нее руками, предлагая немедленно убраться. Поведение для лечащего врача, сами согласитесь, непозволительное.

— Ничего, ничего, — сказал Голубаев, — Тоня нашему разговору не помешает. А посмотрите, какая славная у нее брошка: сияет, как солнышко. Это что, подарок, Тоня?

При этом он не повернул лица в сторону вошедшей, его заострившийся нос по-прежнему торчал вверх. Пораженная сестра машинально ощупала брошку, едва выглядывавшую между отворотами халата.

— Подарок... — пролепетала Тоня, растерянно поглядывая то на больного, то на Чашухина. Но у моего товарища у самого вид был не очень солидный.

Ткнувшись вместо двери в косяк, тихонько охнув от боли и неожиданности, сестра поспешно покинула палату.

Павел Родионович засмеялся.

— Я и сам все это переживаю как великое чудо, — признался он. — Снова видеть...

— Но вы же... вы совсем не видели! — вскричал я. — Как же вы сумели сделать само открытие?

Голубаев ответил не сразу, его рука гладила щеку жены.

— Вот, — дрогнувшим голосом произнес он, — благодаря этой женщине.

Костя приподнял брови, собрался подергать себя за баки, но рука его так и повисла в воздухе.

— Маша была моими глазами, — продолжал Павел Родионович. — Прежде всего, она помогла мне сохранить мужество, когда я начал слепнуть. Нужно было бороться или... Мы из- 19

брали первое. О, вы еще не знаете, какое упрямство в этой на вид добренькой особе. Представьте, она заставила меня продолжать чтение лекций и сама приводила в институт, за руку. Или заставляла Надю. Надеюсь, не забыли? Я оживал, я работал, я радовался и... искал. Во время одной из лекций — темой ее были кожные рецепторы — я вдруг и подумал о Розе Кулешовой...

— Он тогда пришел домой один, — сказала Мария Федоровна. — Насмерть перепугал меня. Слышу, кто-то звонит, открываю — Павел. Явно не в себе, руки трясутся. Как он мог найти дорогу — ума не приложу. Спросите его — он теперь и сам не вспомнит.

— Не вспомню, — согласился Павел Родионович. — У меня было такое состояние, будто меня облили спиртом и подожгли. Потом у нас с Машей началась работа. Мы стали изучать уже накопленный опыт в области видения пальцами. И очень скоро у нас появились кое-какие собственные соображения...

— Да не у нас, не у нас, — запротестовала Мария Федоровна. — У тебя. Какое отношение могла я иметь к твоему открытию?

Губы Павла Родионовича дрогнули в улыбке. Он протянул жене вторую руку. Их пальцы переплелись.

20 Мы с Костей укрادкой переглянулись, не смея

даже дыханием напомнить о своем присутствии. Мы молчали, ожидая, пока Павел Родионович заговорит сам.

— Помните дискуссию в печати? — Голубаев улыбался, и его лиловое лицо с черными нитями вен не казалось уже таким отталкивающим. — Большинство ученых склонялось к тому, что зрение кожей есть атавизм, доставшийся нам от самых далеких предков, от червеподобных, еще не имевших глаз. Но согласитесь, трудно поверить, что видение кожей представляет собой отголосок палеозойской эры. Ибо, если это так, то наши более поздние предки, жившие в какой-нибудь меловой или третичный период, ощущали своей мохнатой шкурой и своими когтями куда тоньше, чем современный музыкант пальцами. Чепуха, конечно. И мне в голову пришла удивительная мысль: а что, если зрение кожей у современного человека — не атавизм, не отголосок прошлого, а предвестник будущего?

— То есть? — произнесли мы с Костей одновременно.

— Если сравнить кожу современного человека с кожей хотя бы питекантропа, то, без всякого сомнения, она во много раз чувствительнее. Питекантропу не под силу было бы собрать часовой механизм или сыграть простейшие гаммы на скрипке. Согласны со мной? 21

Вот так. И от поколения к поколению эта чувствительность повышается, все чаще прорываясь уже как зрительное восприятие. Среда, в которой живет и действует человек, непрерывно усложняется. Вместе с нею совершенствуется и человек. Ему все труднее обходиться одними глазами. Вот природа и спешит ему на помощь...

— А вы? — Я глотнул. — Что сделали вы?

— О, я всего лишь поторопил природу.

— А, — снова догадался я, — иглотерапия и тот аппарат, к которому были присоединены иглы!

— Все это, коллега, значительно сложнее. Боюсь, мне не объяснить сразу всего. Вам известно, что нервные окончания в коже по своему строению слишком далеки от структуры чувствительных элементов глаза. И кроме того, эти окончания не связаны с зрительными центрами мозговых полушарий. Потребовалось решить двойную задачу: во-первых, повысить чувствительность рецепторов кожи, сделать их восприимчивыми к световым раздражителям. В этом мне помогло исследование нашими физиками так называемой легкой воды. Во-вторых, нужно было создать новые связи в сложном ансамбле нервной системы. Здесь сыграла решающую роль иглотерапия,

22 и опять исследования наших физиков, но уже

в другой области: высокочастотное воздействие на живой организм. Мне, по сути дела, оставалось только собрать воедино достижения самых различных областей науки. — Помолчав, Голубаев добавил тихо: — Единственное, что потребовалось от меня лично, — это мой опыт нейрохирурга.

Видимо утомившись, Павел Родионович умолк.

— Тебе нужно отдохнуть, — забеспокоилась Мария Федоровна.

— Да, — согласился Павел Родионович, — слабость... Но это хорошо, что они дали мне высказаться. Хирург Чашухин, говорят, человек строгий и пунктуальный.

Румянец выступил на веснушчатых Костиных щеках.

— Ну-ну, — успокоил его Голубаев, — зачем же смущаться? Наша профессия, коллега, требует хорошей выдержки. И, пожалуйста, не смотрите на меня как на первооткрывателя. Ничего такого особенного я не сделал, — Голубаев устало вытянулся. — Открытие, как говорится, уже витало в воздухе. Не я, так кто-нибудь другой проделал бы то же самое. И вижу я не так уж хорошо. Очень много цветковых помех. Все предметы окружены радугой. Но... все впереди. — Голубаев отнял свою руку у жены, поднес ее к самому лицу. — 23

Пальцы... — Он помолчал. — Вы только подумайте, друзья: хирург с видящими пальцами! С ними не ошибешься во время операции. Да с ними я, черт знает, что смогу сделать! Простите... устал...

— Отдыхайте, Павел Родионович, — сказал Костя. — Сейчас вам нужен только отдых.

Мы вышли из палаты, и, пока шли до кабинета дежурного хирурга, Костя все поглядывал на свои пальцы, словно увидел их впервые. Я понимал, о чем он думает.

В кабинете он принялся бестолково ходить из угла в угол. Мы оба молчали.

Потом в кабинете появилась Мария Федоровна.

— Уснул, — сказала она.

— Садитесь, Мария Федоровна, — Костя предупредительно подвинул кресло.

Она присела на самый краешек, легкая, смущающаяся, в любое мгновение готовая вскочить и броситься обратно в палату.

— Но как же он смог? — вырвалось у меня. — Глазные нервы... Это ж такая нечеловеческая боль! И потом, стоило ошибиться скальпелем на один миллиметр и...

Мария Федоровна виновато улыбнулась.

— Видите, как получилось. Он настоял, чтобы я побывала у Наденьки, а я, дура, не до-

24 гадалась, что у него на уме.

— Так рисковать! — зарычал Костя. — В одиночку! Да с вашей-то помощью ему было бы насколько проще!

— Что вы! — Мария Федоровна испуганно замахала руками на Костю. — Да я в его делах абсолютно ничего не понимаю. Какая там из меня помощница...

Домой я возвратился оглушенный. На вопрос перепуганной матери: «Что случилось?» — кажется, улыбнулся и тем успокоил ее.

— Голубаев... — сказал я. — Понимаешь, я встретил Голубаева.

Я думал теперь не о самом открытии, а о том, как оно было сделано.

Нет, не просто желание снова стать зрячим двигало Голубаевым. Потребовалось нечто более могучее и страстное, то самое стремление, которое на протяжении всей истории медицины рождало врачей-безумцев, готовых поступиться собственной жизнью ради крупицы истины.

Я припоминал имя за именем, трагедию за трагедией, победу за победой. И образы, лица, известные мне по иллюстрациям в учебниках и по портретам, украшавшим стены аудиторий института, вставляли в моем воображении. Но все они отступили перед лицом с провалившимися веками на пустых глазницах — лицом Голубаева.



КАНАЛЫ МАРСА

— Простите, вы Неприн? Игнат Васильевич с неудовольствием оторвал взгляд от приборов и повернулся к вошедшему. Это был мужчина лет сорока семи, среднего роста, худощавый, с гладко выбритой головой и узкими острыми глазами. Игнат Васильевич не переносил, когда в лабораторию заходили посторонние, и даже деловые разговоры предпочитал вести на кафедре.

Он взглянул на часы, бросил лаборанту: «На сегодня достаточно. Выключай!» — и только после этого сухо спросил:

— Чем могу быть полезен?

Вошедший отрекомендовался:

— Лагно. Алексей Георгиевич.

— Лагно... Лагно... — Неприн пытался вспомнить,

где уже слышал такую фамилию и видел это подвижное, чуть скуластое лицо.

— Астрофизик, — подсказал Лагно.

— Ах, да, я был на вашем выступлении в Москве, в обществе «Знание». Вы докладывали о каналах Марса.

— Совершенно верно.

Неприн опустил руки в карманы халата, наблюдая, как лаборант выключает аппараты.

— Иди, отдыхай, — сказал он ему и, когда двери лаборатории закрылись, вопросительно взглянул на гостя.

Лагно пояснил:

— В Перекатовске я проездом. Сделал остановку, чтобы возвратить вам одну вещь.

И протянул Неприну газетный сверток.

— Что это?

— Термос.

— Позвольте, как термос? Зачем он мне?

Лагно сделал движение бровями, означавшее: «Смотрите, все поймете». Неприн прошел к столу и, положив на него сверток, принялся разворачивать газету. В руках у него действительно оказался термос литра на полтора. Но в каком виде! Облезший, покрытый окисью, с вмятинами.

— Что за музейная редкость? — проворчал Неприн и включил настольную лампу. — Да вы садитесь, пожалуйста.

Лагно поблагодарил и опустился на стул. Он с интересом присматривался к Неприну, о котором знал больше как о бесстрашном исследователе пещер, спелеологе в прошлом, нежели о специалисте по гидравлике, докторе технических наук в настоящем. Яркий свет лампы озарял спокойное лицо с глубокими складками морщин, густые, но уже заметно тронутые сединой волосы. Плечи широченные, движения неторопливые, сильные.

Неприн вглядывался в надписи, нацарапанные металлическим острием на корпусе термоса. Чтобы прочесть их, он поднес термос ближе к лампе.

«Сей термос куплен в Скопле и есть личная собственность Игната Неприна. 4 авг. 19...» — прочел он и растерянно оглянулся на Лагно. — «Утоплен Аней в подземном озере Хенн-Марти 19 июля 19...»; «Игнат жалкий собственник. Пусть обожьется своим какао. Мир праху его! Аня М. ...»; «Забыт в лесу у перевала через Гиндукуш 2 июля 19...»

Дальше он читать не стал, ибо помнил наизусть все надписи. Когда-то они были сделаны его рукой.

— Как... как термос мог попасть к вам? — изменившимся голосом спросил Неприн.

— Видите ли, я спелеолог-любитель. Этим летом вместе со своими студентами я побывал

в Кулымской пещере. Там мы и нашли его. Он плавал в озере.

— Кулымская пещера... Но ведь это Южный Урал!

— Совершенно верно, Южный Урал.

Неприн так бережно, так ласково касался термоса, словно в его руках находилось живое существо, которому нечаянным движением он мог причинить боль.

— Непостижимо... — пробормотал он. — Просто непостижимо!

— Но почему, Игнат Васильевич?

— Потому, что термос был утерян в пещере Рмонг-Тау.

Лагно удивленно приподнял брови:

— В Гималаях?

— Вот именно. И с тех пор прошло почти восемнадцать лет.

— Может быть, его кто-то нашел, а позже снова утерял?

— Нет, найти его никто не мог.

Астрофизик, собравшийся было извиниться за причиненное беспокойство и откланяться, остался сидеть на стуле. Он выжидающе смотрел на Неприна.

— Найти его никто не мог, — повторил Неприн. — Термос находился в рюкзаке Ани. — Он повернул к свету надпись, в конце которой стояло «Аня М.». — И она погибла.

Лагно сделал движение, словно его кольнуло изнутри.

— Мы учились в одном институте: я на третьем курсе, Аня на первом. Она как-то незаметно появилась в нашем студенческом клубе спелеологов — обыкновенная, ничем не примечательная девушка. Но после первого же маршрута мы стали с ней неразлучны. Нет, она была необыкновенной: бесстрашной, неутомимой... Ласковой. — Неприн поставил термос в конус света, падающий от настольной лампы, выпрямился. Голос его звучал глухо. — Часто нам доводилось проникать туда, где еще не ступала нога человека, и чаще всего такие странствия мы предпочитали совершать вдвоем: она и я... — Неприн придавил пальцами веки. — Извините, что я разоткровенничался. Так сразу поднялось во мне...

Лагно сочувствующе пожал локоть Неприна. — Я понимаю, — сказал он. — Рассказывайте, прошу вас.

— Нас сблизила странная жажда видеть никем еще не виданное. И опасности. Опасности на каждом шагу. Без них подземный мир потерял бы для нас всякую привлекательность. Случалось, мы сутками бродили среди хаоса каменных джунглей в крошечной мгле; спускались в темный зев неизвестно что таящих

в себе провалов; часами ползли под низко нависшими глыбами; пересекали подземные озера с водой, прозрачной, как воздух. А бывало, перед нами вдруг распахивались гроты, похожие на дворцы восточных владык из старых волшебных сказок. Мы, притихшие, бродили среди ослепительно белой сталактитовой колоннады и боялись своим дыханием повредить тончайшие кружева, свисающие до самого пола. Мы замирали на месте, ослепленные внезапным сверканием кристаллов. В лучах наших фонарей переливались голубые, желтые, красные, фиолетовые сполохи...

Неприн уронил руки, сцепил пальцы. Лицо его оказалось в тени. Ему сейчас было все равно, слушает его Лагно или нет. Воспоминания причиняли нестерпимую боль, с которой он не мог оставаться один на один.

— Там пришла к нам любовь. Я не стыжусь вспоминать о ней, хотя я уже женатый стареющий мужчина и у меня взрослые дети. И оттого, что любовь пришла к нам в необычном мире, она и сама была необычной. Черное каменное безмолвие приучило нас всегда быть в одной связке. Известно вам, что значит быть в одной связке? — Лагно кивнул. — Едва расставшись с дневным светом, мы превращались в одно целое. Там для нас все было общим: опасности, восторги...

Однажды среди спелеологов прошел слух, что в Рмонг-Тау обнаружены следы снежного человека и, значит, где-то в ее гротах, возможно, находится стоянка наших древних предков. Была организована экспедиция советских и французских спелеологов, вошли в нее и мы с Аней.

И вот, считая себя наиболее опытными спелеологами, мы опередили наших товарищей. Тут сказалось все: и честолюбие молодости, и свойственное исследователям нетерпение.

Вначале все шло хорошо. Но вот путь нам преградила пропасть. Не колеблясь, мы начали спускаться в нее. Да, мы спешили, конечно, мы спешили... Приходилось ли вам спускаться по скользкой отвесной скале в полном мраке? Нужно иметь хорошие нервы. Фонари, закрепленные на наших шлемах, освещали слишком малое пространство, и пропасть оттого казалась бездонной. Первой спускалась Аня, я страховал ее. Вдруг она сорвалась и полетела вниз. Я привычно остановил ее падение. Аня повисла на веревке. Я услышал ее стон. На мой вопрос: «Что случилось?» — она ответила: «Рука...»

Внешне Неприн оставался спокойным, и только на виске его у самого глаза пульсировала голубенькая жилка. Говорил он ровным и глуховатым голосом.

— Нелепо все получилось. И страшно... Аня вывихнула руку. Боль сделала ее беспомощной. А я стоял на узеньком карнизе, места хватало только для пяток. Когда я сделал попытку подтянуть Аню к себе, то едва не соскользнул в пропасть. Тогда я принялся кричать. За нами шли наши товарищи и французы, я их ждал с минуты на минуту. Но оказалось, что они обнаружили другой коридор, уводящий в сторону от пропасти... Сколько мы так барахтались, сказать невозможно. Я начал выдыхаться, Аня становилась все тяжелее. Ноги... понимаете, первыми начали отказывать ноги...

Неприн отвернулся, чтобы Лагно не мог видеть его лица, с минуту оставался неподвижным, потом медленно пошел по узкому пролету между гидравлических установок. Остановился у одной из них, открыл кран. Наклонившись, пил прямо из струи, шумно и жадно. Когда он возвратился к столу, лицо его было по-прежнему спокойным.

— Чем же все это кончилось? — спросил Лагно.

— Она перерезала веревку...

Лагно зябко поежился. В тишине лаборатории его слуха вдруг коснулось журчание воды, текущей из неплотно прикрытого крана. Оно показалось ему раздражающим. Трагедия Неп- 33



рина потрясла его, и вместе с тем он испытывал досаду. Подобные истории надолго лишали Лагно душевного равновесия: от природы он был очень чувствительным человеком. Даже самые маленькие неприятности по административной линии или неудачи в исследовательской работе переживал подолгу и болезненно, с трудом приходя в себя. А пока переживал, не мог сосредоточиться, бывал в такие моменты до смешного рассеянным, делал грубые ошибки.

Сейчас он возвращался из командировки с богатейшим материалом, полный самых радужных надежд и планов, и уже досадовал на себя, что сошел в Перекатовске: термос можно было бы передать и посылкой. Так нет, захотелось повидать известного спелеолога. Сколько теперь будет торчать перед глазами этот облезлый термос!

Алексей Георгиевич нахохлился, ссутулился. Но взгляд невольно возвращался к термосу и к коротенькому «Аня М.», процарапанному на его ржавом боку. Что он хотел там увидеть, какую загадку затаил в себе старый термос? Тревожная и странная мысль толкнула его в сердце с такой же силой, как и слова «Она перерезала веревку...» Лагно сделал попытку отмахнуться от нее: время ли размышлять о своих теориях?

— Внизу оказался поток. — Неприн сел, широко расставив ноги и тупо глядя в пол. Его переплетенные пальцы находились в движении, и там, где они приподнимались, оставались на коже белые пятна. — Аню увлекло в узкую расщелину под скалу. Оглушенную падением, с вывихнутой рукой, ее, видно, сразу подхватил поток. Не помню, как мне удалось спуститься со стены. Я связал все веревки, какие только у меня нашлись, кое-как закрепил конец за обломок скалы и бросился в воду. Мои ожидания не оправдались: меня не вышвырнуло на поверхность по другую сторону стены. Другой стороны попросту не оказалось. Поток убежал куда-то в бесконечность. Я отправился за помощью. В поисках Ани приняли участие наши и французские спелеологи. Но все было тщетно...

— С тех пор вы оставили спелеологию? — осторожно поинтересовался Лагно. Он хотел спросить, не возвращался ли Неприн в Рмонг-Тау, не пытался ли все-таки найти выход потока на поверхность. И не решился.

— Нет, — ответил Неприн, — я еще участвовал в экспедициях, спускался в самые недоступные бездны. И тем прославился. А я просто перестал замечать опасности. После гибели Ани сердце мое окаменело, что ли. Потом, — у Неприна дрогнули губы, — потом я начал стра-

дать галлюцинациями: мне казалось, что где-то неподалеку в подземных лабиринтах бродит Аня, зовет меня...

— Понимаю...

Лагно страшно разволновался. С каждым новым словом Неприна догадка переходила в уверенность. Мысль, пришедшая ему в голову, пугала его своей значительностью и ошеломляющей простотой.

Неприн умолк. Он сидел теперь обмякший, словно ко всему безразличный. Тени прошлого покидали его, сливались с густеющими сумерками.

И опять Лагно услышал въедливое журчание воды.

— Игнат Васильевич, — взмолился Лагно, — закройте кран, будьте любезны.

— Что? Ах, да. Извините...

Журчание оборвалось. Алексей Георгиевич подавил вздох облегчения, теперь он мог сосредоточиться, мог собраться, как перед очень рискованным, решающим экспериментом.

Как странно порой совершаются открытия! Исследователь бьется годами, десятилетиями, иногда всю жизнь не может решить поставленной перед собой задачи. И вот, когда уже исчезает надежда, опускаются руки, вдруг сваливается «счастливая случайность».

Лагно чувствовал себя и счастливым, и несча-

стным одновременно. Он понимал, что человек, сидящий перед ним, нуждается в дружеском участии. И вместе с тем сознавал, что каждое слово сочувствия, произнесенное им, прозвучит фальшиво, неуместно. К стыду своему, он чувствовал, как в нем все сильнее берет верх радость открытия, и ничего тут не поделаешь. И молчать он уже не мог.

— Вы говорите, термос находился в рюкзаке Ани. — Лагно придвинулся к Неприну. — Может быть, при ее падении рюкзак лопнул и термос остался на камнях? Вы его в темноте могли и не заметить, а позже на него наткнулся кто-нибудь из спелеологов.

— Нет, — Неприн покачал головой, — после меня никто не решился побывать на дне этой злосчастной пропасти.

— Итак, термос угодил в поток...

Лагно потирал ладонями поверхность стола, все поглядывая на Неприна. Волнение его было, наконец, замечено.

— Уж не хотите ли вы сказать, — усмехнулся Неприн, — что термос вынесло потоком в Кулымскую пещеру?

— А почему бы и нет, Игнат Васильевич?

— От Рмонг-Тау до Уральского хребта добрых четыре тысячи километров.

Лагно все поглаживал стол. Последнее замечание Неприна заставило его на минуту оста-

38

вить это занятие. Он наклонил свою гладко выбритую голову, задумался.

— Игнат Васильевич, — с некоторой осторожностью в голосе, словно опасаясь, что не так будет понят, обратился он к Неприну, — как вы расцениваете теорию непрерывно расширяющейся Земли?

— Что? — Неприн рассеянно взглянул на Лагно.

— Речь идет о теории, которой придерживаюсь я, и не только я. Мы считаем, что наша планета с момента возникновения подвержена непрекращающемуся увеличению в объеме, то есть расширению...

— Какое мне дело до всего этого? — глухо отозвался Неприн, встал, взял термос и огляделся, не зная, куда убрать его.

— Игнат Васильевич, дорогой, — Лагно тоже вскочил на ноги, — я понимаю, как вам сейчас тяжело. И мне бы полагалось хоть в какой-то мере выразить вам свое соболезнование. Извините вы меня, сухаря. Эта история с термосом подобна вспышке молнии. Видите ли, я посвятил себя очень узкому вопросу — каналам Марса. И в течение всей своей научной деятельности занимался одной-единственной проблемой, проблемой происхождения каналов Марса. У меня имелась своя собственная гипотеза. И, поверите ли, сейчас, здесь, во вре-

мя вашего рассказа мне вдруг все представилось совершенно в ином свете. И моя собственная гипотеза, и гипотезы моих противников рассыпались, как карточные домики.

Неприн сделал нетерпеливое движение. То, о чем говорил сейчас Лагно, показалось ему неуместным. Прошное, воскреснув, заставляло его страдать, ни о чем другом думать сейчас Неприн не мог. Лучше, если бы Лагно ушел, оставил его одного.

— Марс принято считать безводной пустыней. — От волнения у Лагно порозовели не только щеки, но и шея, и выбритая голова. — Пустыня! И этим сейчас пугают тех, кто собирается обживать его. А в действительности на Марсе воды сколько угодно: моря! океаны! И ее вовсе не придется доставлять с Земли за восемьдесят миллионов километров.

Неприн нахмурился.

— Но я же гидравлик, — раздраженно повысил он голос, — какое мне дело до вашего Марса и до вашей теории расширяющейся Земли?

— Вы прежде всего ученый, Игнат Васильевич, и мы оба с вами трудимся для блага людского. Слушайте же, что помогли вы и ваша замечательная подруга Аня понять мне: каналы Марса — это гигантские разломы, возникшие в результате постоянного расширения

планеты. И туда, в эти трещины, ушла вода с поверхности, как со временем уйдет она и на Земле. Земля и Марс — космические близнецы. Все, что уже совершилось на Марсе, только начинается на нашей планете.

— Да разве вам приходилось видеть на Земле такие трещины?

— А как же, Игнат Васильевич! Взять хотя бы трещину Чья, рассекающую Исландскую впадину. Или трещину Гобийского Алтая в 250 километров длиной. Но обе они — самые свежие раны на теле нашей Земли. В ядре не прекращается работа неведомых нам тектонических сил, которые медленно, но неустанно раздвигают сковывающий их панцирь. Панцирь то тут, то там лопается. Через трещины выплескиваются расплавленные массы, на краях возникают гигантские обвалы, образуя горные массивы, хребты, кряжи. Вулканическая деятельность и обвалы прикрыли трещины, подобно тому как сгусток крови затягивает рану на теле человека. Но ненадолго. Расширение не прекращается ни на минуту. Со временем вода и ветер сравняют горные вершины, и на ровном теле планеты откроются нашим глазам невиданные по величине разломы и пропасти...

Неприн снова поставил термос на стол. Он слушал все внимательнее.

— До сих пор теория расширения и каналы Марса представляли для меня несоизмеримые, далекие друг от друга понятия, — Лагно положил ладонь на руку Неприна. — Но вот термос из рюкзака вашей Ани перекинул мост от одного к другому. Суть каналов Марса — для меня теперь не гипотеза, а аксиома. Под горными вершинами, и под Уральским хребтом в частности, проходят трещины, прикрытые гранитными сводами. Человечество затрачивает колоссальные усилия на рытье шахт, чтобы извлечь скудные руды, в то время как под нашими ногами простерлись необозримые естественные штольни, созданные самой природой. Приходи, бери готовое, легко доступное, и столько, сколько пожелаешь. А в каналах Марса? Кто знает, какие несметные богатства обнаружим мы в недрах этой загадочной планеты!..

Лагно увлекся.

— Постойте-ка, — нетерпеливым жестом остановил Неприн рассуждения астрофизика, — да ведь перед спуском в Рмонг-Тау я налил в термос какао. Если бы он и выпал из рюкзака Ани, то непременно пошел бы ко дну.

Лагно почувствовал себя так, словно его окатили ледяной водой. Казалось, еще мгновение — и рухнет только что воздвигнутое им

Он откинулся на стуле, чтобы собраться с мыслями.

— И все-таки мы нашли его в Кулымской пещере, — сказал он. — Термос перед нами. И он пуст.

— Пуст?

Неприн взял термос со стола, поставил на колени и попытался отвинтить крышку. Но, видно, коррозия в резьбе и осадки из воды крепко прихватили ее. Неприну пришлось сходить за плоскогубцами. Он принялся разрывать тонкий металл, и руки плохо слушались его.

Да, предчувствие не обмануло его: в термосе что-то было. Перевернув баллон над столом, Неприн вытряс несколько пожелтевших от времени листов бумаги.

Лагно придвинулся к Неприну и вместе с ним начал читать.

«...До последней минуты не теряла надежды выбраться наверх, — писала Аня. — Но вот пошли шестые сутки, а воде и гротам нет конца. Рюкзак бросила, надеялась выбраться быстро, а теперь осталась без пищи. Невыносимо болит рука. Слабею. И самое страшное — садится аккумулятор...»

«...Никак не решусь доверить термос потоку. Вокруг меня что-то странное и необъяснимое. Ничего похожего на те пещеры, в которых мы бывали с Игнатом. Потолок уходит все выше.

Стены рассечены каньонами. На одном из сбросов обнаружила каменный уголь. А сейчас сижу на плитах из какого-то серебристого металла. Противное безразличие. Двигаюсь по инерции...»

«...Надо мною шумит ветер, и у моих ног плещется настоящее море. А каменные своды так высоко, что я их не могу разглядеть...»

«...Лампочка чуть теплится, скоро совсем погаснет. Идти больше не могу. Очень страшно умирать в темноте. Так хочется еще разок взглянуть на солнышко. Игнатушка, где же ты? Я жду тебя, Игнат!...»

«...Пишу на ощупь. Тьма... Игнат, прощай. Не забывай свою невезучую Аниуту...»

Это был последний листок, вырванный из записной книжки. Строчки в нем то набегали одна на другую, то уходили вверх и вниз.

Неприн застонал, грохнул кулаком по столу. Вскочив, он заходил по лаборатории. Лагно не решался поднять на него глаза, будто частица вины за гибель Ани была и на его, Лагно, совести.

— Игнат Васильевич, — заговорил Лагно, — завтра я буду в Москве и тотчас займусь подготовкой экспедиции на Рмонг-Тау. Вас вызову телеграммой.

Он не видел лица Неприна, но знал, что тот согласен.

Выйдя из института на ночную улицу, Лагно привычно разыскал в небе багровую звездочку: Марс! Марс... Сколько веков ты привлекаешь к себе людские взоры, и как страстно рвутся к тебе дети Земли! А знаешь ли ты, какой ценой постигнута одна из твоих тайн?

Лагно представил себе девушку в истерзанной одежде, одиноко бредущую среди непроглядного мрака. Она первой увидела то, о чем еще не догадывались люди и что им только чудилось. Видела, но рассказать не смогла.

Нет, смогла. Рассказала!



НАСТОЙКА ИЗ ТУНДРОВОЙ СЕРЕБРЯНКИ

Вежливый стук в дверь. Я отрываюсь от книги, встаю и на цыпочках, чтобы не разбудить спящую мать, пересекаю комнату. За дверью — дядя Костя, наш квартирант.

— Виталий, — шепчет дядя Костя, — пойдем ко мне.

Я с сожалением поглядываю на книгу, раскрытую на самом интересном месте. Четверть второго ночи. Дядя Костя чем-то взволнован, нервно потирает руки, переступает с ноги на ногу. Обычно он ложится спать с курами и поднимается с петухами.

Я осторожно прикрываю за собой дверь.

В комнате квартиранта знакомый мне беспорядок. На столе, на стульях, на окне пучки сушеных трав. Три шкафа у одной стены наполнены пакети-

ками, мешочками, коробочками, склянками с настойками и отварами. Три шкафа у другой стены набиты книгами — тут и биология, и фармакология, и физиология, и гомеопатия, и академические сборники, и множество справочников.

Дядя Костя — гомеопат. Он поселился в нашем особнячке два года назад. Ему за пятьдесят. Это еще крепкий, коренастый и очень покладистый человек. Лицо у него скуластое, и, когда он говорит, вдоль лба ложатся складки, мелкие-мелкие и много-много, а глаза прищуриваются, становятся задумчивыми.

Профессию гомеопата дядя Костя унаследовал от своей бабки, прославшей в глухом уральском селе колдуньей.

Конечно, сам я в медицине разбираюсь не очень-то. Для меня современная медицина — это кобальтовые пушки, изотопы, рентген и полный союз с кибернетикой. И все же, мне кажется, дядя Костя даст сто очков вперед любому профессору — хоть терапевту, хоть невропатологу. С книгами он не расстается. Если бы я так же сидел над учебниками, я бы техникум с отличием закончил.

До последнего времени дядя Костя жил в районе. Там его за незаконное врачевание травмами привлекали к судебной ответственности. Да, говорят, народ за него дружно вступился,

особенно те, кому он своими травами помог избавиться от болезней.

Короче говоря, пригласили самоучку-гомеопата в областную клинику показать силу своих трав. Для начала дали ему палату с больными экземой, да еще с такой хронической экземой, которая уже никакому лечению современными методами не поддавалась.

Через десять дней в палате никого не осталось, все выписались здоровехонькие. Тут травами дяди Кости сразу исследовательские институты заинтересовались.

Каждую весну, как только сходит снег, наш квартирант отправляется в странствия по лесам. Мы не видим его по три, четыре месяца. Возвращается он коричневый от загара, в порывших потертых сапогах, в вылинявшей от дождей и солнца одежде.

Вот и нынче он только что возвратился из тундры. Добирался туда на вертолете.

Дядя Костя подвел меня к столу, взял стакан из тонкого стекла, наполненный какой-то жидкостью, и протянул его мне.

— Отпей. Глотка два-три.

Я с недоверием покосился на содержимое стакана, очень напоминающее эмульсию алюминиевого порошка. Дядя Костя пробовал все отвары, которые придумывал заново, хотя лю-

48 бой из них мог оказаться смертельным ядом.

— А для чего? — спросил я. — Что ты хочешь на мне проверить? У меня же нет никакой болезни.

— Есть у тебя болезнь.

— Да ну-у? — деланно испугался я. — Какая же?

— Пей. После скажу.

Обычно улыбчивое лицо дяди Кости осталось сосредоточенным и нетерпеливым.

— Пить?

— Да не бойся же! Экий ты, честное слово. Я касаюсь жидкости губами, пробую на вкус. Что-то тепловатое, терпкое, вяжущее, не очень-то приятное. А дядя Костя не сводит с меня глаз.

Набравшись мужества, я делаю глоток... второй... третий... Осторожно возвращаю стакан дяде Косте. Глотаю слюну — и неприятный привкус во рту исчезает. Можно даже не запивать водой.

— И все?

Дядя Костя не отвечает, продолжает как-то испытующе смотреть на меня. Что же должно случиться? Я настораживаюсь. И вдруг ощущаю легкое головокружение, в ушах шум. Но прежде чем я собираюсь сказать об этом дяде Косте, уже все исчезает.

Дядя Костя выжидает еще немного, потом вдруг спрашивает:

— Скажи, с каких строчек начинается книга, которую ты сейчас читаешь?

Яжимаю плечами. Откуда мне помнить, если я уже одолеваю третью сотню страниц?

— Ты действительно не можешь вспомнить? Или не хочешь?

— Да не могу, конечно.

— А последние строчки, которые ты прочел перед тем, как я отвлек тебя?

Я добросовестно напрягаю память и, к стыду своему, не могу воскресить в ней только что прочитанные строчки. Содержание — пожалуй-ста, сумею все пересказать. Но содержание дядю Костю как раз и не интересует. Ему нужно дословно.

— Ну, хорошо, — дядя Костя оставляет книгу в покое. — Скажи в таком случае, чем тебя кормила Екатерина Владимировна в позапрошлый понедельник.

Меня разбирает смех. Что это с нашим ученым соседом? Не такие уж изысканные блюда готовит моя мать, чтобы они надолго запомнились.

Дядя Костя разочарованно вертит в руке стаканчик с таинственным отваром. Мне даже жаль его становится, но я не знаю, чем помочь.

— Ну, извини, брат, что побеспокоил. Извини.

50 — Спокойной ночи, дядя Костя.

— Будь здоров.

Я возвращаюсь к себе, к своей книге. Сажусь за стол. Читаю. И вдруг ловлю себя на том, что только вожу глазами по строчкам, но смысл исчезает куда-то.

Что бы это значило?

Я заново перечитываю страницу — и опять та же история: не понимаю, что читаю. В недоумении я гляжу прямо перед собой и... вспоминаю свое первое свидание с Катей. Как это случилось? Ах, да, мы встретились в художественной галерее. Взявшись за руки и страшно смущаясь, ходили от картины к картине. В одном из залов я, воровато оглянувшись по сторонам, поцеловал Катю.

— Ай-яй, молодые люди, — услышали мы и отшатнулись друг от друга, — как не стыдно? В таком-то месте и под такой-то картиной!.. Я расхохотался — ну и конфуз тогда получился!..

И осекся.

Дело в том, что я еще ни одной девушке не назначал свидания. И тем более не знал никакой Кати. Больше того: в нашем городе не было художественной галереи.

Мой смех разбудил мать.

— Ты что, не собираешься сегодня ложиться? — спросила она из другой комнаты.

Я вздрогнул: голос Кати, которой я не знал! 51

И лицо девушки... Почему оно мне так мучительно знакомо? Где я его видел? Вспомнил: в нашем семейном альбоме. Это же лицо моей матери в молодости, Екатерины Владимировны, Кати.

— Чепуха какая-то привиделась, — отозвался я. — Понимаешь, вообразил себя на свидании с девушкой. И будто пришли мы с ней не куда-нибудь, а в художественную галерею, и там, под картиной «Расстрел комиссара» я поцеловал ее. А дежурная увидела, закричала: «Ай-яй, как не стыдно! В таком-то месте и под такой картиной!»...

Мать промолчала. Я услышал, как заскрипела ее кровать, зашуршали шлепанцы. И вот она в наброшенном на плечи халате стоит в дверях.

— Отец рассказывал тебе? — дрогнувшим голосом спросила она. — Боже мой, как давно это было. И, кажется, совсем недавно. Да, это было наше первое свидание. Да...

Отец умер два с половиной года назад. Рак поджелудочной железы. Он очень мучился. Врачи не смогли его спасти, а дяди Кости мы еще не знали.

— Но он... он мне ничего не рассказывал! — возразил я.

Мать, видимо, не расслышала.

52 — Мы познакомились в Ярославле, — вздох-

нула она, — и нам очень нравилось встречаться в художественной галерее. Там под «Расстрелом комиссара» он и поцеловал меня впервые.

Я тупо смотрел на мать. Какое отношение имеют ее свидания с отцом к тому, что наиграло мне мое воображение?

— Ложись, — в голосе матери и грусть, и ласка, — уже два часа. Проспишь завтра на работу. Ложись, сынок.

Я последовал ее совету. Захлопнул книгу, разобрал постель. Но только выключил свет и присел на кровать (еще и одеяла не успел откинуть), как в голове моей завертелись уже другие воспоминания.

...Воздушный шар уносил меня в небо. Меня и моего товарища-прапорщика. Нам не хватало воздуха. Соединив усилия, мы тщетно тянули за веревку, пытаюсь открыть клапан и выпустить часть газа.

Тогда я, сбросив шинель, начал карабкаться по выпуклой упругой оболочке. В ушах звенело, кровь стучала в висках и розовой пеленой застилала глаза, руки судорожно цеплялись за стропы. Я был близок к обмороку. Но понимал: если лишусь сознания — конец нам обоим.

Ценой невероятных усилий мне удалось добраться до клапана и открыть его. Засвистел, 53

вырываясь наружу, газ, шар начал проваливаться вниз, сквозь нагромождения облаков... Загремел стул, который я толкнул от неожиданности.

— Ты что, Виталик?

Но я, упав на кровать, еще никак не мог отдышаться, я жадно ловил воздух разинутым ртом. А в голове билась радостная мысль: живы!

— Виталик, ты слышишь?

— Все в порядке, мама, — я не узнал своего голоса. А помолчав, спросил: — Отцу приходилось летать на воздушном шаре?

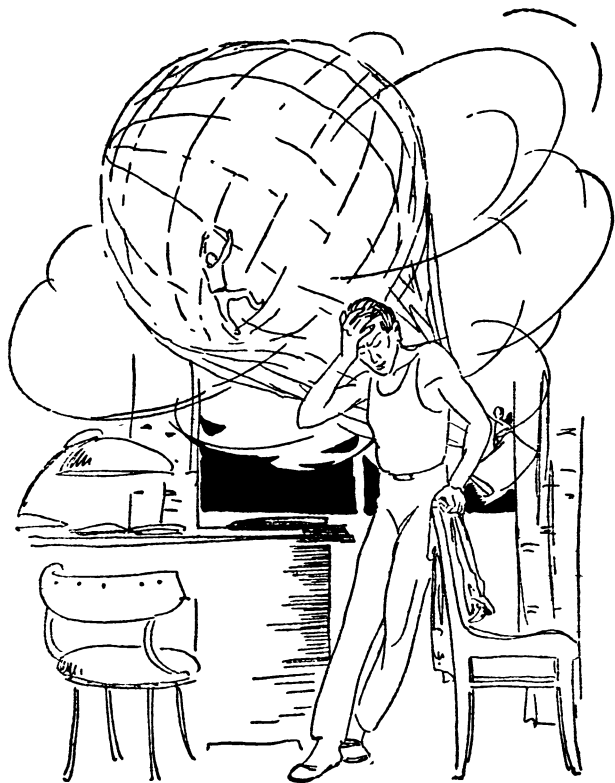
— Ну что ты, какие там шары! Он и на самолете ни разу не подымался. А вот его отец, то есть твой дедушка, — тот другое дело. В молодости он служил в воздухоплавательном отряде. Однажды чуть не погиб... А почему ты об этом спрашиваешь?

— Да так просто.

— Ну, спи, сынок. Спи.

Стоило мне опустить голову на подушку, как в голове завертелся настоящий калейдоскоп воспоминаний.

...С шашкой наголо я мчался на коне, увлекая за собой отчаянных головорезов, одетых кто во что горазд: в бархатные камзолы, сермяжные поддевки, плетеные кольчуги. Знойная степь. Пыль. Вдали уходят от нас янычары.



...С топором в руках я обхожу громадную ель. С какой стороны сподручней валить ее наземь? Снег по пояс. Тут же моя светлолицая подруга. Вдруг она испуганно вскрикивает — из кустов, поднявшись на задние лапы, появляется разбуженный нами медведь. Я бросаюсь к нему, подняв над головою топор...

Я не могу оставаться в постели. Сердце у меня колотится так сильно, будто я и на самом деле только что пережил схватку с разъяренным зверем.

Включив свет в комнате, я ошалело озираюсь по сторонам и никак не могу осмыслить происходящего. Уж не схожу ли я с ума?

И тут меня осеняет: дядя Костя!

Торопливо натягиваю брюки и отправляюсь к нашему квартиранту. Он еще не спит. Сидя у стола, созерцает все тот же стакан с серебряистой жидкостью. Меня он встречает настороженным взглядом.

— Чем ты напоил меня? — набрасываюсь я на него.

— А что случилось, Виталий?

Торопливо и сбивчиво рассказываю, какая блажь лезет мне в голову. Дядя Костя слушает не перебивая, слушает очень внимательно, и складок на его лбу больше, чем всегда. А выслушав, медленно встает, ходит по комнате,

56 всплескивает руками.

— Необыкновенно! — бормочет он. — Вот уж чего никак не ожидал. Чудо! Чудо, честное слово!

— Новый сорт опиума ты открыл, что ли?

— Опиум, брат, чепуха. От опиума люди просто дуреют, им действительно всякая ересь лезет в голову, и с реальностью она никак не связана. А с тобой совсем другое. Ты увидел то, что происходило на самом деле. Ты вызвал к жизни воспоминания своего отца, своего деда... вроде даже своих далеких предков. Понимаешь, брат Виталий, я прежде сам попробовал этого отвара. — Дядя Костя сел у стола, придвинул к себе стакан с серебристой жидкостью. — Но со мной произошло совсем другое. У меня обострилась память. Я смог вспомнить все, чуть ли не с первого дня своего появления на свет. Я легко вспоминал строчки давно прочитанных книг, лица людей, которых мимолетно встречал в трамвае, на улице, в клинике. Все виденное, слышанное и пережитое восстанавливалось с необыкновенной ясностью. Но все это было только МОЕ. А у тебя...

— Прямо не верится, — пробормотал я.

— Еще бы!

— Но как это получается?

— Видно, в отваре образовалось неизвестное нам вещество, которое как-то воздействует на

наш мозг. Предполагаю так: оно восстанавливает связи между клетками мозга. А может быть, и вызывает образование новых связей. Павлов-то, Иван Петрович, как считал? Мозг человека — это бездонная кладовая. Складывай сколько хочешь. Все, что хоть раз услышал, на что хоть раз взглянул — все остается там, навсегда. Но вот разыскать в той кладовой что-то, когда потребуется, не всегда удается. Поэтому и говорят, что у одних память хорошая, а у других никудышная. Случается, вспоминаешь событие, которому лет двадцать с хвостиком. Но зато никак не можешь вспомнить имя и отчество человека, с которым тебя познакомили час назад.

— Последние строчки из книги, — поддакнул я, — опять ведь забылись. А когда я от тебя возвратился, нарочно их перечитал.

— То-то и оно.

Дядя Костя задумался, покачивая головой. Я смотрел на него с восхищением.

— Послушай, — вдруг осенило меня, — значит, если пить твой отвар, можно вспоминать жизнь и своего отца, и деда, и прадеда? Побывать при царствовании Ивана Грозного. Или в те времена, когда еще и Руси не было. В общем, увидеть все то, что они увидели и пережили. Да это же... Это прямо настоящая машина времени!

— Вот и я о том же думаю...

Дядя Костя протянул руку к сложенным на столе травам, вытянул из маленького пучка несколько серебристых листиков, узких и остреньких, бережно положил их себе на ладонь.

— Эта?

— Я назвал ее тундровой серебрянкой, — сказал он, — по-русски. Из латыни ничего подходящего не подобрал. Да и зачем тут латынь? Подумать только: бледненькие неприметные цветочки, распустившиеся на вечной мерзлоте. Сколько веков люди топтали это слабое на вид творение природы, не подозревая, какая чудодейственная сила в нем скрывается. А может, мы еще и не такие чудеса-то топчем, брат Виталий. Мало мы знаем природу, до обидного мало.

Лицо дяди Кости приняло незнакомое мне выражение, даже не знаю, какое — помолодело, что ли.

А на столе в свете настольной лампы загадочно поблескивал отвар из тундровой серебрянки.



ВОДА ПОД НОГАМИ

Последние дни своего отпуска Роман проводил у тетки в Ключиках. Деревня была небольшая — шесть домишек у обрывистого берега Слюдянки, прижатые к ней еловым лесом и скалистыми холмами. От города недалеко, на «ракете» рукой подать.

По утрам он поднимался до восхода солнца и, прихватив с собой удочки, отправлялся на Слюдянку добыть рыбы на уху. У него было свое излюбленное место — на камнях под отвесным глинистым обрывом. Здесь два шага в воду — и накроет с головой: глубина!

Это утро началось как всегда. Было очень тихо, если не считать посвистывания пронесившихся в воздухе стрижей. Полосы тумана стлались низко по реке, висели в низинах.

зацепившись за кустарник. Небо над лесом только начало розоветь.

Роман воткнул удилища под камни, сложил ноги калачиком, закурил и замер, не сводя глаз с воды.

Движение, возникшее в тумане на реке, не сразу привлекло его внимание. Но когда среди ватной дымки обозначилась человеческая фигура, Роман невольно оторвал взгляд от поплавков. Фигура проступала все яснее. Кто-то шел прямо на Романа, шел так, словно с того берега на этот были перекинuty мостки. Но Роман знал, что никаких мостков нет!

Он подался вперед, окончательно забыв о своих удочках.

Еще минута — и из тумана показалась девушка в коротеньком цветастом сарафане. Она делала шаг за шагом, осторожно и неторопливо нащупывая дорогу босыми ногами и слегка балансируя гибким телом. Вода все же колыбалась под нею, но странно: так колеблется туго натянутый тент под порывами ветра.

Папираса выпала изо рта Романа, рассыпая пепел, скатилась на колени, потом в воду и там с коротким обиженным шипением погасла. — Э! — закричал Роман, вскакивая. — Девушка!

Та подняла на него нарочито задумчивые, печальные глаза и приложила палец к губам, 61

призывая к молчанию. С минуту она постояла не двигаясь, глядя на оторопевшего рыбака. Затем так же молча повернулась и исчезла в тумане.

Только тут Роман почувствовал, как бешено колотится у него сердце.

Поднялся ветер. Под его порывами заметались, закружились над рекой клочья тумана. Вскоре от них не осталось и следа. Открылся противоположный берег. Ни на реке, ни на том берегу не было ни души.

«Не померещилось же?—недоумевал Роман.— Вроде не дремал. Нет, конечно. Но как это может быть, чтобы человек босиком ходил по воде?»

Пропало желание продолжать рыбалку. Собрав удочки, Роман отправился в Ключики. Подходя к дому, он увидел тетю Глашу, бегущую от реки. В руках ее стонали пустые ведра.

— Подумай-ка! — закричала тетя Глаша. — Вода-то не набирается!

— Ушла от берега?

— Да в ведра, в ведра не идет!

— Дайте-ка я попробую.

Роман передал тетке удочки, а у нее забрал ведра. Между огородами он сбежал к мосткам, с которых женщины брали воду, нагнул-
ся и...

Край ведра скользнул по воде, будто была то вовсе и не вода, а хорошо накачанная автомобильная камера. Роман присел на корточки, взгляделся в воду. Увидел свое отражение, водоросли на дне, гальки с пляшущими по ним солнечными бликами, снующих рыбешек.

Нет, это все-таки была вода, обыкновенная вода, пронизанная лучами взошедшего солнца. Но когда Роман сделал попытку погрузить в нее руку, он встретил сопротивление! Рука наткнулась на непроницаемое, упругое и неведомое вещество!

— Пойдем-ка отсюда, Роман, — понижая голос и почему-то оглядываясь по сторонам, сказала тетка. — Ну ее, эту воду. У Семеновых в колодце наберем.

Роман выпрямился, продолжая с недоумением глядеть то на ведро в своей руке, то на воду под мостками.

Что за фокусы выкидывает сегодня Слюдянка?

Он снова присел, пробурчал: «А, черт!» — и, размахнувшись что было силы, хлопнул ведром по воде. Из-под ведра ударил фонтан воды, обдал тетку с ног до головы.

— Чтоб тебя! — взвизгнула тетка.

Она растопырила руки. С лица ее и рук бежали струйки. Платье темными пятнами прилипло к телу.

Потом Роман нес за теткой полные ведра, и вода, обыкновенная вода плескалась в них, переливалась через края, падала на траву и на ноги Романа.

Весь день он провел на Слюдянке. Пытался разобраться в происшедшем, прежде чем сообщить в город. Расспрашивал односельчан тети Глаши, не видел ли кто из них девушки, ходящей по воде, не встречал ли твердой воды в Слюдянке. Люди отшучивались, вопросы его всерьез не принимали.

За спиной Романа был политехнический институт, сейчас он работал помощником начальника цеха по новой технике. Вот тебе и новая техника! Никакими изученными в институте законами сегодняшнего чуда не объяснишь. Выпросив у соседа тети Глаши лодку, Роман плавал на ней вдоль и поперек Слюдянки, пока руки не онемели. Но на твердую воду ни разу не наткнулся.

Вдоволь намахавшись веслами, он возвратил лодку, а сам поднялся на обрыв, лег в траву, подперев кулаками подбородок, и стал смотреть на противоположный берег. Ждал: вдруг между высоких свеч можжевельника мелькнет цветастый сарафан, девушка спустится к берегу, приветливо помашет рукой и пойдет к Роману прямо через реку, ступая босыми ногами по воде.

Ожидание становилось томительным. Девушка представлялась пришедшей из таинственного ниоткуда. Правда, эту загадочность смазывали некоторые сугубо реалистические подробности: Роман вспомнил задранные пальцы ее ног — видно, утренняя вода холодила голые ступни.

Воспоминание о задранных пальцах рассмешило Романа.

Вечером он снова сел с удочками. Но за поплавами следил рассеянно, леску дергал невпопад. Взгляд его постоянно обращался к противоположному берегу. Там на воду уже легли густые тени. Постепенно они дотянулись и до тех камней, на которых сидел рыбак.

Клев давно кончился, а Роман еще оставался перед веером воткнутых в песок удочек. Он и сам дивился тому, как упрямо ждет появления девушки и не хочет примириться с мыслью, что больше не увидит ее.

Стемнело.

В небе выплыла круглая яркая луна. Одна за другой зажглись звезды. Теперь уж и совсем следовало возвращаться в Ключики. Но Роман чувствовал, что уйти не может.

Он побросал удочки на траву. Собрался было развести костер. Раздумал. Огонь мог отпугнуть девушку. Он расстелил плащ, лег на спину, забросив руки за голову.

И незаметно уснул.

Разбудило его щекотание в носу. Он чихнул раз, другой и, не в силах сдержаться, третий. Кто-то прыснул за его спиной.

Открыв глаза, Роман увидел босоногую девушку в коротеньком сарафане. Конечно же, это она! Оглядываясь на Романа, девушка бежала к воде. Задержалась на минуту, поманила его пальцем. И пошла, пошла по воде, изгибаясь тонким телом.

Роман вскочил на ноги. Одним рывком скинул с себя рубашку. Запутавшись в брюках, запрыгал на одной ноге, отшвырнул их. Желая опередить девушку и отрезать ей путь, он бросился к повисшему над водой каменистому карнизу. В голове мелькнула мысль, что он делает что-то не так, подвергая себя опасности. Но было уже поздно: ноги отделились от опоры. В следующее мгновение тело его ударилось во что-то плотное и неподатливое. Оглушенного, Романа подбросило вверх, словно под ним распрямилась пружина.

Снова очутившись на воде (а не в воде!), он вскочил на ноги и тут же полетел на спину — поверхность воды заходила под ним. Падая и вставая, и снова падая, он кое-как добрался до берега. Там, сидя на песке и потирая едва не переломанные ребра и чудом уцелевшие шейные позвонки, начал приходить в себя.



И тогда увидел, как следом за ним прыгнула на песок девушка.

— Я же кричала, чтобы вы не прыгали! — в глазах ее был испуг. — Разве же вы не слышали?

— Да не слышал, конечно, — простонал Роман.

— Вы же могли разбиться насмерть! — Девушка опустилась перед ним на песок. — Ужас! Надо же додуматься: прыгать. Очень больно?

— Не так уж, — Роман осторожно повертел головой. — Отпускает потихоньку.

— Ох, как вы меня перепугали...

Теперь он мог разглядеть ее лицо, освещенное луной: кругленькое, с маленьким остреньким носом. Глаза в свете луны блестели серебром. В уголках губ и около носа лежали тени. Волосы свешивались на лоб.

— Как вас зовут? — не спросил, а скорее прикрикнул на нее Роман.

— Вероникой.

— А меня Романом. Вы кто?

— Я? — Вероника чуть повела плечами. — Да я так. Я с Корнеем Васильевичем приехала. Мы живем там, — она кивнула на противоположный берег, — за косой. У нас там лагерь.

— Ну-ка, рассказывайте, — потребовал Роман.

— О чем?

— А вот как вам с Корнеем Васильевичем удается с водой такие невероятные фокусы проделывать.

Вероника сидела на песке, подобрав под себя ноги и тщетно стараясь прикрыть их сарафаном. Но сарафан был ей короток, и из-под него все время высывались уже насмешившие Романа пальцы.

— Мы с Корнеем Васильевичем проводим здесь экспериментальные работы, — пояснила она, явно важничая. — Я и еще мои товарищи. Нас целая секция.

— Ничего себе эксперименты, — усмехнулся Роман, поглаживая ребра.

Вероника смутилась, пробормотала что-то невнятное.

— Так вы ученый?

Она смутилась еще сильнее.

— Н-нет... Я еще студентка. В университете учусь, на второй перешла. Но член студенческого научного общества, прошла по конкурсу. — И уточнила: — По математическому. А здесь мы проверяем действие катионита на открытом русле.

— Катионита? — В памяти Романа шевельнулось давно слышанное в институте. — Ионообменная смола, кажется? Полимер?

— Да.

— Ах, вот как... — Он задумался. — И ваш катионит делает воду...

Девушка утвердительно кивнула головой.

— Вы не сможете растолковать поподробнее?

— А вы сами кто?

Роман назвал себя.

— Ну, если вам интересно... Видите ли, когда Корней Васильевич начал заниматься исследовательской работой (он специалист по гидротурбинам), так он что заметил... Пленка поверхностного натяжения — представляете? Прочность ее оказалась разной, если вода горячая или холодная, чистая или загрязненная. Как будто чего особенного? Но когда Корней Васильевич рассчитал прочность для идеальных условий, — Вероника встала на колени, голос ее зазвучал таким торжеством, словно это она обнаружила изменения в прочности пленки, а не Корней Васильевич, — оказалось, что эта прочность должна быть в тысячу раз больше, чем...

Вероника указала на реку, и Роман посмотрел туда же. Вода спокойно отражала звездное небо.

— Что значит идеальные условия? — Роман перестал ощущать боль.

— Во-первых, воздух. Растворенный в воде воздух. Он делает ее «рыхлой», пористой и потому текучей. А потом примеси. В основном

механические включения, взвеси. По заданию Корнея Васильевича я и Лёка (это моя подруга) определили загрязненность нашей городской водопроводной воды, уже прошедшей полную очистку и прозрачной на вид. Ужас! Знаете, сколько в ней взвеси? Восемьсот тысяч частиц на каждый кубический сантиметр! Сплошная грязь! После этого я целый день не могла пить водопроводную воду. А на каждой такой частице адсорбируются, то есть налипают миллионы молекул воздуха. И еще — ведь вода растворяет абсолютно все. Ну, одного больше, другого меньше. Так и на молекулах растворенных веществ, как рыбы-прилипалы, удерживаются опять-таки молекулы воздуха. Растворенные вещества, взвеси и, главное, воздух ослабляют силу сцепления между частицами воды.

Теперь Роман испытывал двойной интерес: и к тому, что рассказывала Вероника, и к тому, как она рассказывала, вся загораясь, окончательно не зная, куда спрятать ноги.

— Значит, если освободиться от всего этого... — поторопил он ее.

— ...Вода станет в тысячу раз прочнее. Она превзойдет тогда по прочности лучшие сорта стали.

— Ого! Не преувеличивает ли ваш Корней Васильевич?

— Скорее преуменьшает. Да, да, можете поверить! Расчет есть расчет. И, кажется, кое в чем вы уже имели возможность убедиться, не так ли?

Роман, улыбаясь, потрогал свою шею. Голова все еще поворачивалась с трудом.

— Ну, хорошо, — согласился он. — И как же удастся вам изгнать воздух из воды? С помощью того самого катионита?

— Да! Именно!

— А каков механизм его воздействия?

Вероника замаялась.

— Видите ли, это пока секрет. Но вы же знаете, как с помощью ионитов морскую воду превращают в пресную.

— И из морской воды добывают золото.

— Да, да! И тут почти то же самое. Катионит — новый вид полимера. Сам-то он в воде не растворяется, ни в какие реакции не вступает. Но одним своим присутствием вызывает такие реакции, которые связывают между собой примеси и заставляют их выпадать в осадок. Проще говоря, катионит делает воду химически чистой.

— А воздух?

— А молекулы воздуха, лишенные своих подводных кораблей, выпрыгивают из воды, как пробки.

72 — Вот теперь мне кое-что ясно.

Они помолчали.

— Как удивительно получается, — словно забыв о присутствии Романа, девушка устремила глаза поверх его головы, на луну, и луна отразилась в ее глазах фосфорическим блеском, — раньше вода для меня была что: самое обыкновенное, самое простое, изученное и переизученное вещество. И вдруг — столько загадок. Крепче стали... Это вода-то!

Она тряхнула своей стриженной головой и расмеялась.

— А катионит, — спросил Роман, — какой он из себя?

— Вот, смотрите.

Вероника извлекла из кармана сарафана горсточку порошка, который при лунном свете казался темно-лиловым.

— Действие его пока очень кратковременно, — вздохнула она. — Минуты три-четыре — и в воде снова полно примесей, а значит, и воздуха. Вот когда мы добьемся... добьемся, чтобы получалось уж по-настоящему, вот тогда... — Девушка передохнула, сжала ладонь с катионитом и снова разжала. Кристаллы слабо замерцали лиловыми и красными искрами. — Нет, вы только представьте: люди смогут ходить по воде там, где им вздумается. Рюкзак за плечи — и по океану.

Девушка бережно, как драгоценные камешки, 73

пересыпала порошок из одной ладони в другую. Роман не сводил глаз с искрящейся струйки. Он был производственник, человек завода, каждый день решающий сугубо практические задачи, но эта твердая вода задела его за самое живое. Он угадывал, какие необыкновенные перемены таят в себе исследования незнакомого ему Корнея Васильевича.

А девушка, словно подслушав его мысли, сказала:

— Представьте только: когда-нибудь люди построят заводы для изготовления частей машин из воды. Здорово, а? — Роман промолчал. — Открыл кран, налил в форму и — пожалуйста, готово. Форму-то можно сделать из катионита. Так просто, что даже дух захватывает. Да что я вам объясняю, вы же лучше меня можете все это представить.

Да, Роман отлично представлял. Перед его глазами встали чудо-цеха, в которых нет ни одного металлообрабатывающего станка. Вдоль пролетов тянутся только трубы, подводящие воду. И конвейеры, подающие катионитовые формы.

Автоматы отмеряют точные порции воды. И вот уже готовые прозрачные детали со звоном падают в коробки электрокаров. Их поверхность — предельной чистоты. Размеры —

Рудники, обогатительные фабрики, прожорливые дымящие домны, мартены, прокатные станы — все окажется ни к чему. Новая «руда» совершит небывалую революцию в машиностроении. И руды этой реки, моря, океаны! Преподнести бы такое на оперативном совещании у начальника цеха!..

Вот девчонка, вот фантазерка!

— Ну, ладно,— сказал Роман,— только зачем же вы своим катионитом людей пугаете? Вот тетка моя, хоть в чертей и не верит, а к реке теперь подойти боится. Считает, дело тут нечисто. Да и я тоже, когда увидел, как вы по воде шагаете, подумал, у меня с головой того... — Роман покрутил пальцем у виска.

— Вы-то еще что! Вон у тех кустов по утрам трактористы купаются. Ну, я к ним так же из тумана вышла, только в белое нарядилась. Так они из воды повыпрыгивали. Наверное, меня за воскресшую утопленницу приняли.

Вероника, раскачиваясь из стороны в сторону, хохотала. И Роман, представив перепуганных насмерть трактористов, не выдержал, тоже расхохотался.

— Я не пугаю,— пропела Вероника,— я... Ну, не знаю, как объяснить вам. Понимаете, стоит людям узнать о катионите, и они сразу перестанут удивляться твердой воде. А ведь на самом деле это изумительно! Правда же?

Ну вот мне и хочется, чтобы перед людьми вдруг появилась ожившая сказка. Пусть не надолго, хотя бы на минутку. Но за эту минутку сердце замрет и... и...

У девушки не хватало слов.

— Мечтательница, — сказал Роман.

— По-вашему, это плохо? — Вероника, притихнув, подняла глаза на Романа.

— Ну, не знаю, — растерялся он. — Может быть, и не плохо.

Вероника вытянула руку с искрящимся порошком и залюбовалась им.

— Знали бы вы, какой мечтатель Корней Васильевич, — вздохнула она. — Это ведь не я придумала, как из воды будут машины делать. Это он нам о будущем катионита рассказывал. А в науке, по-моему, каждый должен быть мечтателем. Разве не так?

Роман, соглашаясь, наклонил голову.

— А что же ваш Корней Васильевич, тоже так же таинственно перед людьми появляется?

Девушка взглянула на Романа испуганно и просяще. Сказала:

— Если вы с ним встретитесь, пожалуйста, не выдавайте меня. А то... а то он меня сразу выставит отсюда. А? Очень прошу вас.

— Ладно, — засмеялся Роман, — не выдам.

76 — По совести?

— Клянусь!

Вероника вздохнула с облегчением и, придвинувшись к Роману, неожиданно предложила:

— А хотите... пройтись по воде?

Он взглянул на реку. Залитая лунным светом, она предстала перед ним неожиданно таинственной, незнакомой. Роман увидел себя со стороны идущим по этому разлитому по воде золотому сиянию и почувствовал непривычное возбуждение.

— А что ж, — с удивлением услышал он собственный голос, — идемте!

Девушка легко вскочила, протянула ему руку и увлекла за собой к реке. Прыгая с камня на камень, они стали пробираться туда, где было сразу поглубже. Вероника ободряюще улыбнулась заробевшему было Роману и уронила под ноги себе несколько кристаллов катионита. Поверхность воды закипела, будто в нее ударил грозовой ливень. Но очень скоро всплески исчезли.

Вероника шагнула с камня на воду, и вода закачалась под нею.

— Катионит действует пока на небольшую глубину, — предупредила она, — поэтому вода колышется под ногами. Но вы не бойтесь. Так даже интереснее. Ну, идемте же!

Черт возьми, как он волновался, делая этот первый шаг по воде! Он крепче сжал теплень-

кую ладонь девушки, словно в ней была для него надежная опора.

Вода покачивалась под его тяжелым телом, но с каждым шагом он чувствовал себя все увереннее, торжественнее и радостнее. Казалось, что лунная дорога, по которой они идут, уводит их в мир чудес, наполненный необыкновенными превращениями. И хозяйкой этого мира была самая необыкновенная девушка на свете — Вероника.

Экран астролокатора мерцал сумеречно и зеленовато. Под сводами низкого квадратного зала, точно крики неведомой раненой птицы, звучали протяжные позывные: «...Хлюю-и-сииф... хлюю-и-сииф... хлюю-и-сииф...»

За пультом сидели трое: дежурный инженер Смыков, пятидесятилетний лысеющий мужчина в белой рубашке с закатанными рукавами; слева от него — узколицая женщина с зеленоватыми глазами, одетая в строгий серый костюм; справа — мужчина одних лет со Смыковым, крупноголовый, с торчащими во все стороны рыжеватыми волосами, сутулый, нахохлившийся.

Все трое молча смотрели на экран: Смыков — рассеянно, несколько раз-



НОЧНОЕ ДЕЖУРСТВО

драженно, женщина — в раздумье, рыжеволосый — настороженно и нетерпеливо.

— Все то же самое, — произнес Смыков остервеневшую ему самому фразу. — Немножко в ином варианте, но музыка прежняя. Вам еще не надоело слушать ее?

Ему не ответили. Рыжеволосый еще больше нахохлился, а женщина бесшумно вздохнула и облокотилась на панель пульта.

Прошло одиннадцать лет с того дня, как в сторону Альфы Центавра, ближайшей к нам звезды, стартовал первый магнитоплазменный корабль-автомат «Тантал-1». В течение всего полета с кораблем поддерживалась регулярная связь: по командам с Земли включалась система бортовых передатчиков «Тантала», корректировалась траектория полета.

Аппаратуру связи проектировали Минх и Смыкова, те двое, что сидели сейчас по краям большого подковообразного пульта.

Первые сигналы с «Тантала-1» принимал наиболее опытный инженер обсерватории Смыков.

Магнитоплазменный корабль-автомат достиг Альфы Центавра и превратился в ее искусственную планету с периодом обращения в тридцать один месяц. Все шло хорошо: на Землю регулярно поступала информация о состоянии

80 узлов корабля, о тепловых режимах и процес-

сах, происходящих на поверхности далекого гигантского солнца, об излучениях и магнитных полях в окружающем корабль пространстве.

И вдруг — это случилось полтора года назад, когда «Тантал-1» заканчивал первый виток своей орбиты, — его передатчики умолкли и перестали откликаться на команды с Земли.

Метеориты?

Именно к такому заключению и пришли вначале специалисты. Но едва были опубликованы первые сообщения о предполагаемой печальной участи межзвездного корабля, как его передатчики заработали сами, без всякой команды с Земли.

Сначала самопроизвольное включение передатчиков вызвало радость у творцов «Тантала». Но затем их постигло разочарование: на Землю из бездонных глубин Вселенной сыпались одни позывные. Обычно они занимали пять секунд, после чего следовала научная информация. А тут позывные не прекращались более четырех часов подряд.

Затем передатчики «Тантала» умолкли снова. К голосу корабля прислушивались все радионаблюдатели мира — и через двадцать три дня он зазвучал опять.

И опять это были позывные, только позывные...

С тех пор не прекращалась чехарда: «Тантал» то месяцами безмолвствовал, то передача следовала за передачей с интервалами в несколько часов или суток. Однажды позывные не прекращались всю ночь.

На команды с Земли корабль по-прежнему не реагировал.

Разладка приемно-передающих устройств... Даже ведущий конструктор Минх и его ближайшая помощница Смыкова не опровергали этого мнения. Но когда их просили публично изложить, что они думают о столь странном поведении спроектированной ими аппаратуры, вежливо отмалчивались или отделивались туманными фразами: «Мы продолжаем анализировать... Нужно сопоставить факты». Однако Минх и Смыкова зачастили на радиообсерваторию, оборудованную наиболее мощными и чувствительными астролокаторами. Они проделывали немалый путь по воздуху на реактивном самолете, а потом еще и на вертолете — обсерватория находилась высоко в горах Памира и посадочной площадки для самолетов не имела.

Зачастую они просиживали у экрана всю ночь напролет, слушая монотонную песню позывных и не сводя глаз с экрана, на котором вот уже полтора года не появлялось ни одного изображения, переданного «Танталом». Они

сидели и молчали, изредка делая пометки в записных книжках, обмениваясь ничего не значащими фразами.

Минх настаивал, чтобы приемом сигналов в его присутствии руководил наиболее опытный инженер обсерватории — Смыков. Благоговея перед всемирной известностью Минха, директор обсерватории никогда в этом не отказывал.

Потерян счет ночам, проведенным Смыковым в обществе угрюмого Минха и женщины, присутствие которой было ему в тягость.

В детстве, как и большинство мальчишек, он мечтал о космических полетах. Верность мечте привела его в школу космонавтов. Среди будущих водителей межпланетных кораблей Михаила Смыкова выделяло нетерпение и страстное желание быть первым — первым ступить на поверхность Марса, первым разгадать тайну красного пятна Юпитера, первым встретить разумное существо с другой планеты.

Товарищи по школе уважали его за горячность, за восторженность, с которой он готовился к полетам в иные миры. Но те, кто однажды побывал в космосе, относились к Смыкову настороженно. Эти люди успели убедиться, что космос — прежде всего работа, а уж потом — романтика.

Во время одного из тренировочных полетов корабль Смыкова опустился в тайге на берегу реки, едва не угодив на палаточный лагерь туристов.

Там он и повстречал Таню Механошину, девушку с зеленоватыми глазами, громкоголосую, бесшабашную.

Таня работала обмотчицей на электромеханическом заводе. Ей было все равно, кем работать. В будущее она никогда не заглядывала. Книгам предпочитала странствия по лесным дорогам. Любила шумную компанию, танцы, моды.

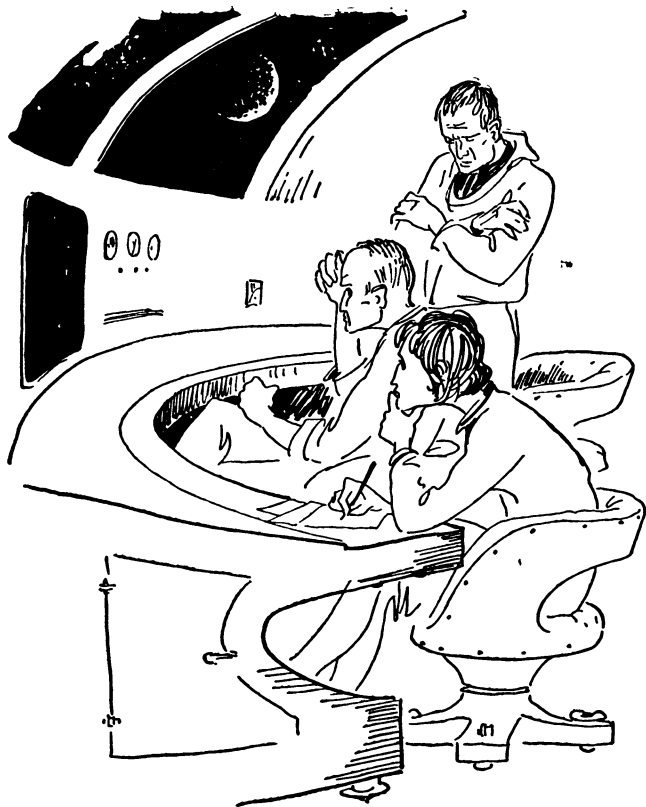
Что могло привлечь в ней романтика Смыкова?

Скорее всего, удивительная непосредственность, доброта и главное — живой интерес ко всему, что он рассказывал.

Они поженились, и это уже было подвигом со стороны Тани: ей предстояло надолго разлучаться с любимым человеком, жить в постоянной тревоге за него. Судьба послала Михаилу преданную и самоотверженную подругу.

Сначала он улетел на Луну и пробыл там три с половиной месяца. Сколько рассказов выслушала Таня! И она никогда не думала, что можно так увлекательно рассказывать: сверкающие пики лунных скал, ущелья, дно кото-

84 рых теряется в чернильно непроглядной тьме,



таинственная тишина далекого мира, гроты, наполненные гигантскими кристаллами, — все это живо вставало перед ее глазами.

Сбылась самая заветная мечта Михаила: его зачислили в экипаж корабля, летящего на Марс. В ожидании старта он горел нетерпением, которое и пугало и удивляло Таню. Она не могла оставаться равнодушной к тем картинам, которые в эти дни рисовала себе фантазия Смыкова.

На Марсе Михаил пробыл почти два года. Два года — срок немалый. За это время можно многое передумать и переосмыслить. И Таню потянуло в мир необычного, в котором жил Михаил.

В тот день, когда корабль стартовал с Марса обратно на Землю, Татьяна сдала экзамен за первый курс института межпланетных связей. Ее намерения не заходили так далеко, как у Михаила, но сменить профессию обмотчицы на специальность проектировщика аппаратуры связи с космическими кораблями не казалась ей уж таким невозможным.

А Михаила на Марсе постигло жестокое разочарование. Он ступил в безжизненную ледяную пустыню. Под его тяжелыми ботинками гулко звенела многокилометровая толща вечной мерзлоты. Воздух был разрежен и неподвижен. В темно-синем, почти фиолетовом не-

бе, на котором не появлялось ни одного облачка, висел маленький негреющий диск Солнца. Только вблизи экватора обнаружили космонавты скудную растительность, напоминающую земные лишайники. Никаких каналов, никаких марсианских городов, никакой древней цивилизации...

Когда Смыков возвратился на Землю, в его рассказах Таня не слышала знакомой ей прежде восторженности.

Но он зарекомендовал себя отличным штурманом космического корабля, и ему доверили вести первый корабль на Венеру.

Полет на Венеру занял два с половиной года. За это время Таня Смыкова защитила диплом и получила назначение в проектное бюро Минха — самое большое, о чем могли мечтать выпускники института межпланетных связей. Ее все больше увлекали проблемы передачи сигналов и изображений с планеты на планету или с летящего в космосе корабля на Землю.

Венера, как и Марс, оказалась безжизненной пустыней. Но, в отличие от Марса, это была пустыня раскаленная, окруженная плотной ядовитой атмосферой. Ни на минуту не стихающие ураганы подымали над ее поверхностью тучи песка. Только изредка сквозь песчаную мглу просвечивал огромный кроваво-красный диск Солнца, и тогда космонавты,

проваливаясь по пояс в песок, спешили укрыться в корабле от нестерпимого зноя. Потом были полеты на спутники Юпитера. Смыкову довелось совершить мастерские посадки на Цереру и Юнону. Но и там он нашел только пустыни — холодный и безжизненный камень.

Действительность беспощадно перечеркивала картины, некогда навеянные фантазией. И сердце его начало остывать, медленно, но неумолимо.

Но чем равнодушнее и апатичнее становился Михаил, тем сильнее разгорался в душе Татьяна огонек, зажженный им. Она проявила недюжинные конструкторские способности. Минх в ней души не чаял и называл ее «зеленоглазой мечтательницей». Татьяна — мечтательница! Михаил только покачивал головой, посмеиваясь про себя.

Пришел день, когда Татьяна спросила его: — Что с тобой происходит, Михаил?

Он неловко попытался обратить ее вопрос в шутку:

— Космонавт не может болеть.

Еще несколько лет они оставались вместе, продолжая отдаляться друг от друга. Разрыв наступил, когда Михаил согласился перейти на должность дежурного инженера в Памирскую радиообсерваторию.

Он уехал, даже не попрощавшись, потому что боялся взглянуть в ее осуждающие глаза. А потом началось строительство «Тантала-1». Смыкова приняла участие в проектировании автоматической приемно-передающей аппаратуры, с головой ушла в работу. Что касается Михаила, он с интересом следил за началом новой фазы освоения космоса, но бывшего волнения в нем уже не было. Пустыни ближние, пустыни дальние — какая разница...

С тех пор прошло одиннадцать лет.

Смыков постепенно тускнел, даже перестал заниматься спортом, отчего сразу появилась полнота и начало пошаливать сердце.

Работал он хорошо, но с таким же успехом мог бы теперь заниматься и прокладкой труб городского водопровода. Он работал потому, что его натура требовала деятельности.

Появление Татьяны в обсерватории взволновало его. Кто свободен от воспоминаний? С Татьяной были связаны лучшие дни его молодости, его удачи и его разочарования.

В кабинет директора, где его ждали Минх и Смыкова, он спешил со стесненным сердцем.

— Здравствуй, Смыков, — сказала Таня и пожала ему руку. На ее лице не было смятения. Она только пристально оглядела его с ног до головы, и ему стало очень неприятно от этого оценивающего взгляда.

Он ответил кивком. Перед ним стояла незнакомая, чужая ему женщина.

Теперь они сидели за пультом рядом, слушая нудные звуки позывных «Тантала». Присутствие этой женщины, носящей его фамилию, беспокоило Смыкова. Раздражал его и Минх. Что им нужно? И ребенку ясно: аппаратура «Тантала» разболталась в полете, как старое пианино, на котором с утра до ночи барабанят бездарные игроки. Втайне он был даже рад этой неудаче. Стыдно, но что поделаешь — рад.

Сегодня, перед тем как принять дежурство, Смыков имел довольно неприятный разговор с директором обсерватории. Он категорически потребовал: или его освобождают от бессмысленного наблюдения за «Танталом» или он уходит из обсерватории. Заниматься бесцельным времяпровождением он не привык. Директор уговорил его остаться еще на смену.

Шел третий час ночи.

Мерцал экран. Долбили голову включенные по требованию Минха на полную громкость позывные «Тантала».

«...Хлю-и-сииф... хлю-и-сииф... хлю-и-сииф...»

Так можно сойти с ума!

90 «...Хлю-и-сииф... хлю-и-сииф...»

— Между прочим, — Смыков заворочался в кресле, — каждый час приема этой дурацкой музыки обходится государству в сто два и шесть десятых миллиона киловатт-часов электроэнергии. Сущие пустяки, не правда ли?

Минх только повел в его сторону глазами, Татьяна не пошевелинулась. Оба слушали позывные с таким вниманием, словно улавливали в них еще и другие, ускользающие от дежурного инженера звуки.

«Ко всем чертям! — Смыков решительно поджал губы. — Довольно с меня. Сейчас выключу телескоп и уйду спать».

Но тут позывные оборвались сами собой. Наступила тишина. Переход к ней был настолько внезапным, что, казалось, воздух продолжает звенеть и вибрировать.

— Ну, теперь недельки на две, — облегченно вздохнул Смыков и поднялся на ноги. — Все. Точка.

Он протянул руку к выключателю. Но повернуть его не успел. Снова загремели позывные. Теперь вскочил Минх, обошел кресло, встал за его спинкой, приглаживая пятерней волосы. Татьяна тоже насторожилась.

Прозвучав минут восемь, позывные снова прекратились.

— Это уже что-то в новом варианте, — усмехнулся Смыков.

— Но не в окончательном, — громко ответила ему Татьяна.

— И он вам крайне необходим, этот окончательный вариант одиннадцатилетней давности?

— Иначе мы бы не сидели сейчас рядом, Смыков.

— А я-то был уверен, что за одиннадцать лет вам удалось создать кое-что более совершенное. Извините, но извлекать опыт из ветхого взбесившегося пианино... смешно.

— Как вы сказали? — подхватил Минх. — Взбесившееся пианино? Остро! Обидно, но остро.

И, запрокинув голову, захохотал.

— Стареешь ты, что ли, Михаил, — Татьяна с жалостью взглянула на Смыкова. — Как ты слеп. И упрям... Или ты и на самом деле не понимаешь, чего мы ждем?

Смыков изменился в лице. Еще ничто и никогда не унижало его так, как взгляд этой женщины и тон, каким она с ним разговаривала. Кресло скрипнуло от усилия его руки.

Смыкова впервые охватило чувство ненависти. Его, бывшего космонавта, постигшего высший принцип товарищества! Среди бесконечного пространства он и его спутники становились одним существом. Затерянные в бес-

92 конечности, они научились по-настоящему то-

сковать о Земле, о людях, о каждом, кого знали и не знали. Возвращаясь, были по-особому нежны, внимательны, человечны. С каждым. Со всеми.

А сейчас он ненавидел. И кого — женщину, которая когда-то была самым близким ему человеком! Он ненавидел ее за то, что продолжал любить, за то, что тосковал по ней все эти годы, за то, что она осталась верной делу, в котором он разочаровался.

Он готов был не сдержаться и оскорбить ее. Он сказал бы ей такое, чего она никогда не смогла бы ему простить, и чего он сам потом не смог бы себе простить. Но тут Минх, видимо угадавший его состояние, подошел, положил руку ему на плечо.

И это прикосновение помогло Смыкову овладеть собой.

— Мы откроемся вам первому, — сказал Минх. — Мы ждем, когда будет восстановлена работа передатчиков «Тантала».

Тайный смысл, прозвучавший в словах Минха, не сразу дошел до сознания Смыкова.

— Вот как? — усмехнулся он. — Любопытно... И кто вам восстановит ее?

— Те, кто по неведению своему нарушил.

Смыков медленно, всем телом повернулся к Минху.

— На «Тантале» нет ни души, — сказал он.

— Не было, — Минх назидательно поднял палец, — вначале.

Он, не торопясь, возвратился в кресло. Смыков угрюмо наблюдал за ним, мучительно пытаясь разгадать, на что намекает этот похожий на дятла человек. Что-то пугающее подкралось к сердцу Смыкова.

— Простая мысль, которую подсказала нам неисправимая мечтательница и фантазерка Татьяна Александровна, — Минх улыбнулся. — Вам же отлично известно, что Альфа Центавра имеет планетную систему. И, вероятно, на одной из них...

— Чушь! — с неожиданной для себя яростью перебил его Михаил. — Старая песня! Придумали бы что-нибудь поновее. Пока мы не высадились на Марсе, мы до последней минуты надеялись найти там разумных существ. А что нашли? Что? Ну? Молчите? Пустыню. И на Венере пустыня. И вокруг вашей Альфы Центавра планеты-пустыни.

— Как страшно тебя слушать, — с другого конца пульта отозвалась Татьяна. — Во что-то же ты еще веришь?

Смыков ответил не сразу. Прежде он дал себе успокоиться.

— Ты хочешь знать, во что я верю? — Он боялся встретить прямой взгляд Татьяны и избегал его. — Хорошо, я скажу тебе. Я верю в

человеческое трудолюбие. Все космические пустыни будут обжиты людьми и превращены в цветущие края. Но они станут лишь копиями Земли, обычного, знакомого нам мира. Не более. Да, копии, только так. А я... я искал совсем другого. Разве ты забыла? Искал — и не нашел. Земля оказалась счастливым исключением. Человечество одиноко среди бесконечного пространства. Конечно, можно строить гипотезы, мечтать. Мечтать! Спать наяву. Смешно... и глупо. От ваших розовых гипотез абсолютно ничего не изменится. Можете тешить себя и торчать на обсерватории сколько вашей душе угодно, но от этого ровным счетом ничего не изменится.

Татьяна отвернулась, и он сразу же почувствовал облегчение.

Все трое молчали, и если бы это молчание длилось дольше, они бы не выдержали... Но тут вдруг вспыхнул экран, замигал лиловым светом, и неясные тени поплыли по нему сверху вниз. Запели позывные.

Татьяна выпрямилась и не то вопросительно, не то утверждающе выдохнула, оглядываясь на Минха поверх головы Смыкова:

— Они?

— Похоже, что-то нащупали! — откликнулся тот. — Видимо, техника у них на более низком уровне, им не так-то просто разобраться 95

в наших нейтронно-кристаллических системах. Но, кажется, пошло! Главное, в космос они вырвались, до «Тантала» дотянулись...

— Ну, ну! — желчно подбодрил Смыков Минха. — Продолжайте. Вполне логично и убедительно.

Но в его голосе прозвучал страх. Странное состояние вызвали у него эти лиловые тени, плывущие по экрану: казалось, позади экрана действительно кто-то настойчиво и неутомимо копается в аппаратуре локатора, пытается оживить лучевую трубку и показать ему, Смыкову, что-то такое, чего не выдержат его натянутые нервы.

Словно сжалившись над ним, экран погас, позывные оборвались. В зале в который уже раз наступила тишина. Смыков подавил вздох облегчения, расслабленно вытянулся в кресле.

Время шло. Часовая стрелка описывала круг за кругом. Самообладание возвратилось к дежурному инженеру.

— Может быть, и достаточно на сегодня? — чуть кривя губы в усмешке, спросил он.

Ему не ответили. Те двое, по краям пульта, не сводили глаз с экрана, и он не решился настаивать.

Светало. Плоский прозрачный потолок зала

Трое за пультом сидели и ждали. Двое — в уверенности, что сбудутся их предсказания. Третий — что все останется, как было.

Только в четыре часа утра запели знакомые позывные. И звук их на этот раз был четким. Секундная стрелка хронометра пробежала пять делений — и позывные смолкли. Еще две секунды — глухое торопливое теньканье посыпалось в зал.

— Информация! — разом вырвалось у Смыкова, Минха и Татьяны.

— Справились... родные, — в голосе Татьяны были слезы радости.

Вспыхнул экран, вспыхнул знакомой Смыкову чернотой космического пространства. И в этой черноте он увидел висящий в пустоте межпланетный корабль, очень похожий на один из тех кораблей, на каких люди делали свои первые шаги в космос. А позади корабля в радужном голубом сиянии поворачивался вокруг оси похожий на гигантский глобус шар с незнакомыми контурами гор и материков.

И так же внезапно все смолкло, все погасло снова.

Дальнейшее ожидание было напрасным. Смыкова и Минх встали.

— Расшифровку информации мы подождем у директора, — сказала Татьяна. — Спокойной ночи тебе, Михаил.

Он остался один. Он стоял посреди зала на сверкающем в лучах солнца пластмассовом полу и видел на нем отражение обрюзгшего тусклого человека. Взглянул на свои руки, вспомнил, что когда-то они уверенно управляли космическим кораблем. А теперь ему не летать больше. И встреча с теми, неведомыми, произойдет без него.

В сердце была боль и пустота...

СОДЕРЖАНИЕ

- 3** Второе зрение.
- 26** Каналы Марса.
- 46** Настойка из тундровой серебрянки.
- 60** Вода под ногами.
- 79** Ночное дежурство.

**Фрадкин
Борис Захарович**

**НАСТОЙКА
ИЗ ТУНДРОВОЙ
СЕРЕБРЯНКИ**

**Научно-
фантастические
рассказы**

Художник В. Н. Аверкиев

Редактор А. Г. Зебзеева. Художественный редактор В. В. Вагин. Технический редактор Т. В. Дольская. Корректоры Е. П. Божанова, И. Л. Пархомовская.

Сдано в набор 15/XII-66 г.
Подписано к печати 15/II-67 г.
Формат бумаги тип. № 2 60×90¹/₃₂,
печ. л. 3,125; бум. л. 1,5625;
уч.-изд. л. 2,706.
ЛБ02055. Тираж 30 000 экз. Цена 18 к.

Книжная типография № 2
управления по печати.
г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.
Зак. 2240.

ПКОО «Пермский писатель»

ЦЕНА 18 коп.